

ДЖУЛИАНА
БОЛДРИНИ

ДЕТИ
НА ПРОДАЖУ



ДЖУЛИАНА
БОЛДРИНИ

ДЕТИ
НА ПРОДАЖУ

РАССКАЗЫ

*Перевод
с итальянского*

МОСКВА
«Детская литература»
1980



И(Итал)
Б 79

Giuliana Boldrini
RAGAZZI IN VENDITA

Перевод с итальянского *Г. Смирнова*

Рисунки Л. Дурасова

Б $\frac{70803-501}{M101(03)80}$ 44р—80

© Перевод. Предисловие. После­словие. Вступительные статьи к рассказам. Оформление.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980 г.

ДЕТИ НА РЫНКЕ ТРУДА

Иностранцу, впервые приехавшему в Италию, сразу бросается в глаза значительное, а иногда и массовое участие детей и подростков в производстве. Их встречаешь повсюду: на больших и малых предприятиях, в Риме и Неаполе, в Милане и Палермо. Это и посыльные роскошных магазинов, и разносчики хлеба римских пекарен, и подмастерья парикмахерских и механических мастерских, и разгрузчики фруктов на рынках, маленькие каменщики и штукатуры. Дети-труженики работают наравне со взрослыми, наравне с отцами и братьями. А им зачастую лет десять, а то и меньше. Они прекрасно могли бы ходить в школу, участвовать со сверстниками в детских играх. В действительности же дело обстоит иначе.

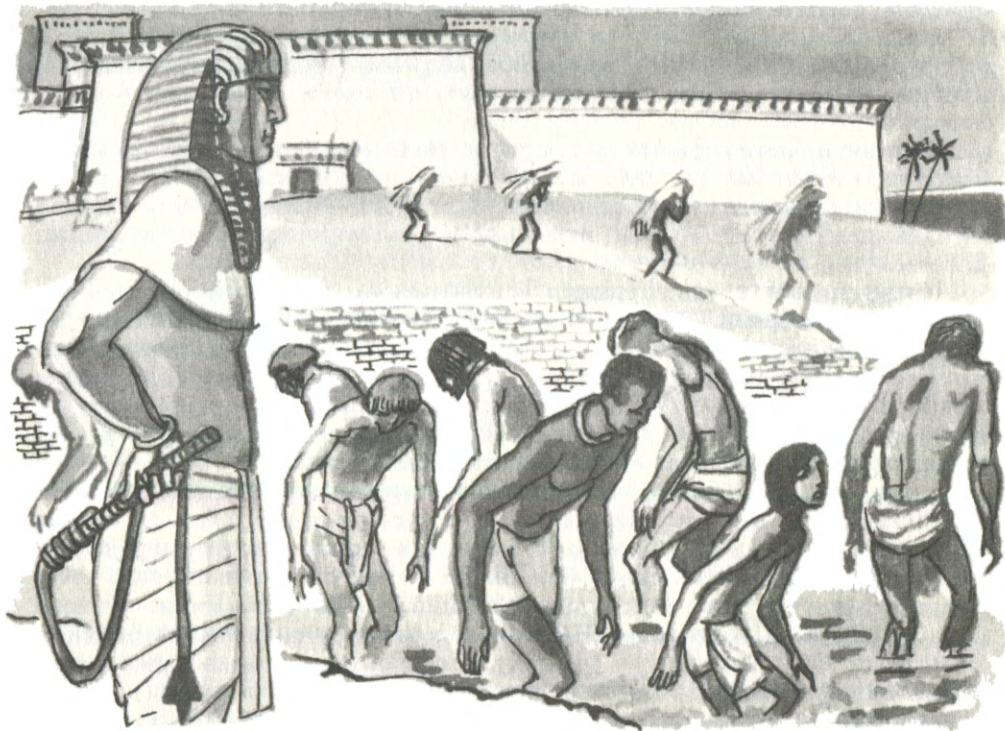
Если же иностранец, пораженный размахом использования детского труда в Италии, обратится к официальным цифрам, он узнает, что в этой стране занято на предприятиях 430 000 детей. Картина совершенно меняется, если взглянуть на другие страны. Я имею в виду не страны Западной Европы, далекой Америки, Азии или так называемого «третьего мира» (в этих странах, согласно последним данным ЮНЕСКО, трудится 52 миллиона детей, не достигших 14 лет), а страны социалистического мира, в одной из которых я имею возможность жить и работать, будучи корреспондентом газеты Итальянской коммунистической партии — «Унита». И следовательно, я могу судить о многих вещах не только по тому, что написано в газетах или книгах, а по тому, что я вижу вокруг себя.

В этих странах — и здесь тоже можно было бы сослаться на непосредственные впечатления зарубежных туристов — невозможно найти детей-тружеников. Нет! Подобное положение исключено в социалистическом обществе. Даже самые злобные антисоветчики вынуждены признать, что в Советском Союзе, как и в других социалистических странах, место детей — в школе. Именно в школе формируется ребенок, именно там получает он необходимые знания и

навыки, чтобы идти вперед, чтобы *занять* достойное место в обществе. Может быть, для граждан социалистической страны стало привычным делом относиться спокойно к подобной действительности, ибо достигнутые результаты давно уже в «порядке вещей» социалистического общества. Но человек, приехавший с Запада и знающий, как трудно приходится маленьким труженикам, весьма чутко улавливает *качественную* перемену. И эта перемена наводит на грустные размышления: в 1979 году во всем мире отмечался Международный год ребенка, повсюду произносилось много официальных речей, проводились конференции, собрания, симпозиумы. Проблема загубленного детства на Западе проявилась во всех подробностях. И несмотря на это, дети Палермо продолжают трудиться на заводах наравне со взрослыми, строительные рабочие на окраинах Рима по-прежнему вынуждены прибегать к услугам ребят, которые ни разу не побывали в школе... И этот перечень можно было бы продолжать и продолжать без боязни впасть в ошибку.

Такое положение вещей на Западе не может не тревожить. Поэтому писательница Джулиана Болдрини сделала доброе дело и для Италии, и для других стран, заострив внимание на этих проблемах, рассказав о детях, которые не только обречены «на продажу», но которые уже «проданы» на рынке труда и, быть может, потеряны для общества. Трагедия этих детей велика и в то же время позорна для общественности стран, которая не упускает случая возвысить голос по любому поводу, не затрагивающему, впрочем, язвы детского труда. Вот почему нам нужны книги, которые, подобно книге Джулианы Болдрини, разоблачают печальную действительность. Голос писательницы слышен и за пределами Италии. Ведь она говорит о подлинной драме человечества и искренне желает наступления дня, когда дети не будут продаваться на рынке труда.

*Карло Бенедетти,
корреспондент газеты «Унитар»*



АБИ ИЗ ГОРОДА МЕРТВЫХ

Действие этого рассказа происходит в Древнем Египте, в эпоху так называемого Нового царства. Сама писательница относит описываемые события к периоду более трехтысячелетней давности, ко времени фараона Рамсеса II (1317—1251 г. до н. э.). Но не этот владыка главное действующее лицо описываемой истории.

В центре рассказа — рабы и рабочий люд, которые возводят пирамиды возле столицы Древнего Египта — города Фивы. Эти работы велись по приказанию фараона («пер-ао» — по-египетски «большой дом»), который вершил всеми делами в государстве: назначал и

смещал военачальников и вельмож, устанавливал повинности, вел войны с соседями. Он мог отбирать имущество у подданных, казнить их без суда. Фараон был равен богу, древние рельефы и папирусы изображают его в окружении богов, как «благого» бога среди равных богов.

Фараон правил страной с помощью послушных вельмож, во главе которых стоял визирь. Он был военачальником, верховным судьей, жрецом и руководителем строительных работ. В подчинении визиря находились другие жрецы и вельможи, отвечающие за отдельные работы.

Прямыми же исполнителями воли фараона были многочисленные рабы и бедный люд. Нужда гнала бедняков на заработки в город, где велись большие строительные работы. Как показали раскопки (например, одного города в Фаюме, близ Меридова озера, около современного города Кахуна), эти бедняки ютились в жалких глинобитных хижинах, теснившихся на небольшом пространстве у подножия толстых высоких стен, эти стены, охраняемые к тому же вооруженной стражей, отделяли их от богатых кварталов города. Так рабовладельцы защищали себя от восстаний обездоленных и рабов. А такие восстания в эпоху Нового царства, когда Египет часто переживал период длительных междоусобиц, были нередким явлением. Об этом свидетельствуют многочисленные литературные источники. Например, папирус «Пророчество Неферти», хранящийся в ленинградском Эрмитаже. Он повествует о том, как в результате несправедливого правления знати люди пришли в волнение, забыли страх перед богом и знатью.

Рассказ Джулианы Болдрини построен на документальной основе. Он почерпнут писательницей из одного папируса, хранящегося в Туринском музее египетских древностей.

* * *

На западном берегу Нила, там, где высятся дворцы Фив — города фараонов, на одиннадцатый день второго месяца Шему на улицах не было ни души. Беспощадное солнце пекло так, что обезумевшие от жары стражники, не покидавшие своих постов на мощной двадцатиметровой стене, окружавшей дворец фараона, устало опирались на секиры или жались к стене в поисках прохлады.

Маленькому Аби тоже было жарко, хотя на нем была только набедренная повязка, которая вместе с ремешком составляла все его одяние. Аби исполнилось десять лет, и он уже два года не ходит нагишом, как детвора в селении.

Солнце палило нещадно. Речная глина с песком и измельченной

соломой буквально плавилась под ногами, обжигая пятки Аби, который без устали месил загустевавшую массу. Из нее делали кирпичи для бесчисленных построек фараона.

Тысячи, сотни тысяч красных кирпичей для стен новых дворцов и храмов! Вокруг Аби его товарищи тоже месили глину, а другие подростки длинной чередой шли с полей, нагруженные снопами соломы. Ее измельчали и добавляли к глине. Издалека, от невидимой плотины, возвышавшейся над Нилом, к ямам, в которых копошились рабы, устремлялся мутный поток воды.

Аби вздохнул и посмотрел на небо, помутневшее от зноя.

У него потемнело в глазах. Подняв руку, чтобы защититься от солнца, мальчик покачнулся и стал падать. Чья-то крепкая рука подхватила его, и сквозь шум в ушах он услышал тревожный голос ливийца Джау:

— Мальчик, эй, мальчик, что с тобой?

Сквозь пелену, застилавшую глаза, Аби попытался различить темное лицо ливийца. Он хотел ответить ему, но не смог вымолвить ни слова. Рядом кто-то произнес:

— Разве не ясно, ливиец! У мальчишки молоко на губах не обсохло, а его заставляют гнуть спину с утра до вечера. А в желудке пусто, как у нас с тобой! О еде лучше не думать! Тсс! — прошептал говоривший с опаской. — Надсмотрщик!

Прильнув к груди своего спасителя, Аби открыл глаза, но тут же с испугом отпрянул: к ним шел рослый детина в полосатой шапке, только что сонно взиравший из тени акаций на рабов, копошившихся в ямах. В правой руке он держал плетъ с раздвоенным концом. Плетъ угрожающе засвистела, и Аби поспешно выпрямился.

— Ах вы, лентяи и бездельники! Вам бы весь день валяться в грязи с бегемотами! Вы только есть горазды, ни один бегемот не поедает столько, сколько пожираете вы. Чего там раскис этот сопляк? Неужели придется лезть в грязь, чтобы надрать ему уши?

Аби почувствовал, как яростно вздулись мускулы Джау, как заходила его грудь.

— Не утруждай себя, господин. Мальчик просто устал, он ничего не ел. Разреши отвести его домой.

— И правда, — с издевкой произнес надсмотрщик, — почему бы не позвать и еще кого-нибудь, чтобы доставить эту важную персону во дворец? Ты, верно, думаешь, что лучше нельзя услужить нашему господину, да хранит его бог Амон, дарующий людям долгую жизнь!

Не обращая внимания на грязь, верзила прыгнул вниз и хлестнул ливийца плетью. Аби полетел на дно ямы и с ужасом увидел, как Джау яростно бросился на надсмотрщика, вырвал у него плетъ, схватил за запястье и мощным рывком перекинул его через спину. Тело надсмотрщика мелькнуло в воздухе и шлепнулось в яму.

Все оставили работу и ждали, что будет дальше. Из грязи верзила вылез неузнаваемым. Выплюнув грязь, он криво усмехнулся и прохрипел:

— Ты мне за это дорого заплатишь, ливиец! Клянусь Горусом! Да сожрут меня скорпионы, если я с тобой не расквитаюсь! Стража, ко мне!

Аби успел увидеть только, как сверкнули копыта подбежавших стражников: от страха и усталости он потерял сознание.

В себя он пришел только под вечер. Слабый огонек терракотового светильника едва освещал единственную комнату глинобитного домика. Фигура старухи, сидевшей на корточках на краю циновки, служившей обоим подстилкой, оставалась в тени. Широко распахнутые глаза — на каждом из них было по бельму — резко выделялись на темной коже ее лица. Это была рабыня из Нубии, и все звали ее просто нубийкой.

Аби разглядывал стены из сырцового кирпича и силился припомнить события дня. В комнате царил порядок: несмотря на слепоту, нубийка была хорошей хозяйкой. Но как и все дома селенья, домик Аби был ветхим: повсюду зияли огромные трещины. Потрескался даже глиняный столб, подпиравший крышу. На этот столб в дни изобилия вешали связки перца и чеснока. Возле входа, прикрытого циновкой, расположились два белых гуся — единственное богатство хозяйки.

— Ты, видать, проголодался, — сказала старуха хриплым голосом. — Последнюю горстку ячменя мы доели вчера. Могу тебе дать только стебель папируса, да и то сырой, сварить его не смогла — воды у нас очень мало.

Старуха повернула к свету морщинистое, похожее на изъеденный ветрами песчаник лицо.

— Не беспокойся, мама, — ласково ответил мальчик. — Есть мне не хочется.

— Конечно, есть никому не хочется, а стукни себя по животу, так загудит, как барабан из антилопьеи шкуры. А ведь до раздачи еще восемнадцать дней. Завтра придется обойтись одним тростником: его разыскала в садах у реки наша соседка — вдова. Попадись она там, не миновать ей смерти под палками. И Джау сегодня ночью на площади ждет такая казнь. Он добр и спас тебя, но помочь ему самому никто не сможет. Боги Египта и равные богам фараоны совсем не благосклонны к беднякам... Куда ты собрался, козленок?

Последние слова старуха произнесла с беспокойством, услышав, что Аби поднялся с циновки.

— Куда ты, сынок? Не ходи никуда. Не вмешивайся в чужие дела, ты еще мал, а стражники страшней речных крокодилов. Сынок, куда же ты?

— Не бойся, мама!

Аби взял высохшие руки старухи и прижал их к сердцу.

— Я буду осторожен. Я только посмотрю. Ты сама говорила, что Джау — добрый человек. Я не могу сейчас оставаться дома, но я скоро вернусь, мама. Ты усыновила меня, когда я и слова сказать не мог. И у меня нет никого роднее тебя.

Аби вышел на улицу и быстро зашагал по узким переходам. А женщина все еще звала его с порога, бессильно протягивая в темноту руки и проклиная свою слепоту.

Несчетное множество лачуг лепилось к подножию внешней, третьей по счету, стены, окружавшей резиденцию фараона. Храмы и дворцы гордо высились над каменной оградой. Аби шел по ночному селению. Полная луна проложила по земле светлые тропинки и посеребрила плоские крыши домов. Но мальчик и так хорошо знал дорогу. К тому же на улицах обычно спокойного селенья то и дело слышались чьи-то голоса, в ночи вспыхивали трепетные огоньки, число которых росло по мере того, как он приближался к намеченной цели. Наконец Аби дошел до площади, расположенной в центре селения. Гигантский колодец отбрасывал длинную тень. Она почти сливалась с тенью памятника Бахенхонсу, великому жрецу Амона, руководившему строительными работами для фараона Рамсеса II. На площади собралось множество людей. Так многолюдно здесь бывало только в день выноса из храма статуи бога Горуса. В этот праздничный день даже самый последний бедняк мог разделить всеобщую радость и получить свою долю ячменного пива.

При свете факелов Аби увидел знакомые лица. Почти все эти люди работали с ним на изготовлении кирпича: одни, как и он, часами месили ногами глину, другие подносили нарезанную солому, третьи, наиболее опытные, заполнив готовую форму, выравнивали глину специальной лопаточкой.

На площадь пришли даже женщины с грудными младенцами, которых они принесли с собой, чтобы не оставлять дома. Просунув ножки в отверстия заплочных люлек, малыши крепко прижимались к материнской спине... На площади образовалась давка: люди протискивались к ненавистному дворцу визиря, окруженному высоченной стеной.

По утрам оттуда выходили вооруженные стражники, писцы, нумеровавшие готовые кирпичи, и надсмотрщики, которых народ ненавидел и боялся больше скорпионов пустыни, чей укус зачастую смертелен. Там же за стеной находились судилища и темницы, из которых люди попадали на плаху. Казнь вершилась тайно — правители боялись восстаний рабов и наемников, выбивавшихся из последних сил на строительстве новых дворцов во славу фараона, сына богов, повелителя всех живущих в долинах Верхнего и Нижнего Египта.

Аби еще не доводилось видеть настоящих восстаний, но он слышал, что нередко отчаявшиеся рабы пытались овладеть ненавистным дворцом и продовольственными складами. Страшно было подумать, к чему могли привести такие попытки, но в глубине души мальчик надеялся, что на этот раз темницы будут взяты штурмом. Голоса вокруг звучали все громче, все решительней: все осмелели, чувствуя локоть соседа.

— Я два дня ничего не ел! — кричал знакомый Аби высокий и сильный раб по имени Нехти — Крепыш.

— А я, по-твоему, сколько?

— У нас дома восемь едоков, и завтра дети будут просить хлеба! А что я могу дать им, кроме кореньев? Неужели всем подышать с голоду?

Голоса сливались в угрожающий гул, сквозь который прорезался мощный голос Нехти:

— А Джау? Вы забыли о нашем брате Джау? Он ничего плохого не сделал, а с ним хотят расправиться за этой проклятой стеной!

— Он ничего не сделал! — дружно подхватила толпа.

— Освободите Джау! Верните нашего Джау! — От криков, казалось, вот-вот треснет небо.

На Аби навалились потными боками и спинами, он подался в сторону, чтобы не оказаться прижатым к стене. Вдруг послышался оглушительный звук трубы. Толпа замерла, как по мановению волшебной палочки. Вершину стены озарил свет множества факелов.

— Дорогу! Идет стража! Джау помилован! Посторонитесь!

Народ отхлынул от стены. Трубы смолкли, на площади воцарилось молчание. Внезапно со стены сбросили какой-то темный предмет, он с глухим стуком упал на землю.

Аби увидел у своих ног отрубленную голову Джау, она смотрела на него стеклянными глазами. Мальчик пронзительно закричал.

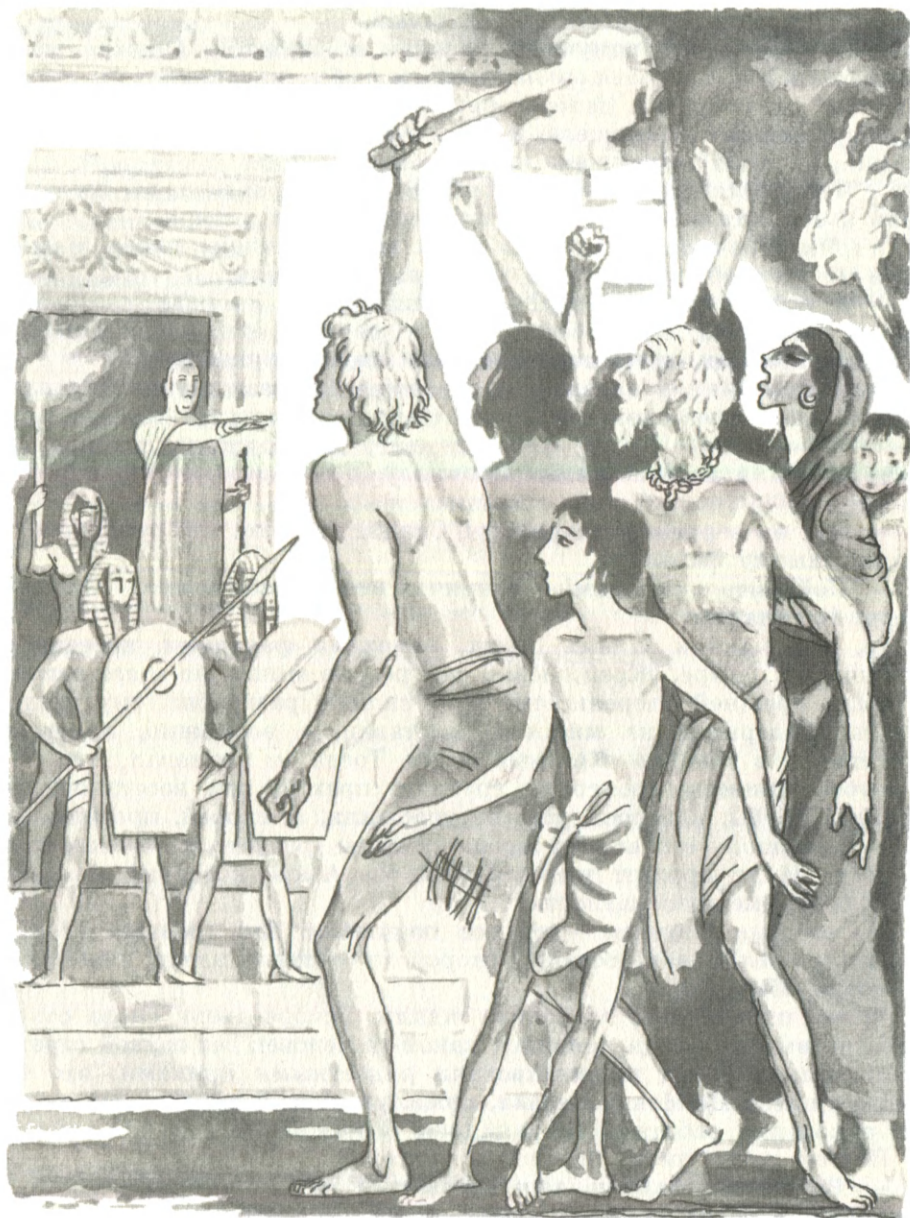
В это время заскрипела и открылась массивная дверь в стене. В окружении стражи, угрожающе потрясавшей оружием, появился один из жрецов. Люди в страхе молчали. У него была бритая голова — право брить голову имели лишь жрецы и высшая знать. Посланец визиря властно произнес:

— Фараон — владыка нашей жизни: он ее дал, он может ее и взять. Тот, кто идет против воли фараона, обречен на смерть. Расходитесь по домам, а утром приступайте к работе!

В первых рядах люди оробели, попятились назад. Аби почувствовал, как к его горлу подкатился клубок.

— Как? Вернуться на работу? Терпеть голод и оскорбления? Смириться с тем, что голова Джау валяется в пыли?

Но вот из онемевшей толпы выступил старик, бросился к ногам вельможи, умоляюще воздел к нему руки.



— Говори, старик, ибо седина должна бы сделать тебя разумней других! — кратко приказал бритоголовый.

— Господин, мы измучены голодом и жаждой. Одежда наша превратилась в лохмотья, у нас нет ни рыбы, ни оливкового масла, в домах не найдется даже горстки бобов. Пошли кого-нибудь к фараону, нашему повелителю и владыке, пусть пришлет он нам хоть что-нибудь, чтоб поддержать наши силы.

— Через восемнадцать дней начнется новая раздача, вы получите зерно и все остальное, — сухо ответил посланник визиря.

Старик вскочил на ноги. Он стал неузнаваемым: перед жрецом стоял не жалкий проситель, а гневный обличитель.

— Я сказал тебе правду! — воскликнул он, сверкая глазами. — Мы не вернемся на работу. Так и передай тем, кто прячется за этими стенами, которые мы возвели своими руками.

Лицо посланника исказилось от злобы. Он замахнулся и ударил старика палкой из слоновой кости. Начальник стражи замер в ожидании приказаний. Толпа хлынула вперед, окружила старика, оттиснула его в задние ряды. Отовсюду послышались угрожающие крики:

— Мы не вернемся на работу! Скажи это тем, кто тебя послал! Скажи самому фараону!

— Пойдемте к складам! — закричал кто-то еще громче. — Сломаем двери! К складам!

Те, кто были в задних рядах, замахали факелами, наседая на стоявших в центре. Жрец гневно смотрел на толпу, но в его взгляде не было прежней уверенности; если склады разграбят, ему несдобровать. Наверняка не миновать отставки, а возможно, и ссылки в пустыню, в ужасные Красные пески. Тогда он приказал затрубить в трубы. Трижды проиграли трубачи, прежде чем восстановилась тишина. Трубы, казалось, уже не угрожали, а, скорей, просили.

— Хорошо, — согласился жрец. — Раз вы требуете, я передам ваши просьбы. И да простит милосердный бог Амон, которому я служу, вашу беспримерную наглость.

Но он был сломлен — это все понимали. Его грозные слова и медленная величавая поступь, которой он отступал назад, уже никого не могли обмануть.

Время шло, но все терпеливо ждали. Вскоре двери снова открылись, но вместо жреца появился какой-то человек без всякой стражи. Рабы узнали его и приветствовали радостными криками: это был учетчик-писец Пе-Монту-Небиат, пожалуй, самый человечный из тех, кто руководил работами на западном берегу Нила.

Подняв руку, писец призвал к тишине:

— Вы правы, фараон, наш владыка и сын милосердного бога, не равнодушен к страданиям своих детей. А сейчас расходитесь по

домам. Завтра утром каждый из вас получит немного зерна, которого хватит на один день. Так будет каждый день, вплоть до новой раздачи продовольствия.

Толпа радостно загудела, а писец поднял руку в знак приветствия и удалился. Оказавшись за дверью, он прислонился к стене и перевел дыхание, от чего заколыхалось его дорогое изумрудное ожерелье. Потом плюнул на землю.

— Проклятые твари! — пробормотал он сквозь зубы.

Подталкиваемый со всех сторон возбужденной и веселой толпой, Аби очутился на краю площади, но тут он вспомнил о Джау. Тогда он повернул назад и побежал вдоль стены, но вдруг остановился как вкопанный: распростершись на песке, возле стены рыдала женщина. Двое малышей в ужасе цеплялись за ее одежду и выли, как волчата. Это были жена и дети Джау.

Аби молча присел рядом на корточки. Луна все еще заливала огромную площадь своим серебристым светом, но уже близился рассвет. Вот-вот должно было взойти солнце, а вместе с восходом начнется нескончаемая, изнурительная работа. Засвистит плетъ надсмотрщика. Люди снова будут мучиться и страдать ради куска хлеба.

Он тяжело достается обездоленным в этом беспощадном мире.



КРЫСЫ В КОПЯХ

Тема этого рассказа — судьба рабов, отданных на время владельцу серебряных рудников. Ясно, что люди, платившие деньги за раба, взятого во временное пользование, старались выжать из него как можно больше. Ведь он не был даже их собственностью!

Поводом для написания этого рассказа послужила история Никия, дошедшая до нас благодаря древнегреческому писателю Плутарху. Никий был одним из владельцев богатейших серебряных копей в Лавриотике. Эта область находилась недалеко от Афин — главного города

древнегреческого рабовладельческого государства Аттики. «Никий,— пишет Плутарх,— ежедневно приносил жертвы богам и держал у себя в доме оракула. Он делал вид, что постоянно советуется с оракулом насчет общественных дел, а в действительности обсуждал с ним свои личные дела, главным образом связанные с серебряными рудниками. У него было в Лавриотике много копей, и весьма доходных, но их разработка была делом небезопасным. Там у него находилось множество рабов, и большую часть его богатства составляло серебро».

Никий был известен своей жадностью к наживе и беспощадным обращением с рабами, работавшими на его рудниках. «Все испытывали сострадание,— пишет Диодор Сикул, совершивший путешествие в эти места,— при виде несчастных, которых гнали на тяжелейшую работу совершенно нагими. Здесь не жалели ни больных, ни женщин, ни дряхлых стариков: они вынуждены были работать под градом ударов, пока не умирали от непосильного труда. Эти несчастные уже не надеялись на будущее и смотрели на смерть как на избавление от их ужасной жизни».

Из рассказа о рудниках Лаврия мы узнаем еще об одном виде рабства — так называемом домашнем рабстве. Раб Киребо, выведенный в рассказе,— домашний раб. В отличие от других рабов, домашние невольники выполняли более легкую работу, они были слугами, поварами, живописцами, брадобреями. Жили они под одной крышей с хозяином дома. Но и их судьба, как мы увидим из рассказа, часто складывалась трагически. Стоило кому-нибудь из таких домашних слуг попасть в немилость, как его тут же подвергали наказанию: переводили на тяжелые физические работы, избивали, разлучали с семьей и т. д.

В рассказе упоминается криптия (тайная война), которая велась против рабов-илотов в соседнем с Атикой государстве Спарта. Ее целью было устрашение подневольного люда и ликвидация тех, кто представлял опасность для рабовладельцев. Таких жестоких мер по отношению к рабам не применяли ни в одном другом рабовладельческом государстве, кроме Спарты.

* * *

Глубоко под землей, в копиях Лавриотики, молча работали четверо рабов. Здесь добывали свинец и серебро. Нагрузив корзину, самый молодой из рабов — мальчик лет тринадцати, взглянул на свинцовый светильник, тускло коптивший в углублении стены: пламя мигало, идя на убыль. Мальчик тихонько толкнул локтем женщину, которая тщательно сгребала в кучу добытую отбойщиками руду и разбивала

ее тяжелым молотком. Она работала, стоя на коленях в галерее, высота которой не превышала и метра.

— Мама, масло в лампе кончается.

— Знаю, Филид. Но ведь это только двадцать третья корзина за сегодняшний день, а нам надо наполнить две дюжины, ты же знаешь. Ты очень устал? — женщина протянула руку, чтобы погладить сына по голове. От ее руки на потном лбу мальчика остался черный след.

Один из рудокопов неприязненно хмыкнул.

— Чтоб тебя покарала Персефона, Эуноа. Все женщины одинаковы. Пусть мальчишка окрепнет, иначе шахта проглотит его, а он так и не научится работать киркой!

— Я не устал, — ответил Филид, задетый за живое. — Мы добудем двадцать четыре корзины, как все другие, Киребо. И оставь маму в покое.

Кирка яростно вонзилась в скалу еще пару раз, потом мужчина, не оборачиваясь, примирительно ответил:

— Ладно, ладно, никто не собирается оскорблять твою мать, она хорошо работает. Видят боги, я всего лишь дал ей совет. Я-то хорошо знаю, что такое рудник.

— Тогда не трать воздух на болтовню, бычья твоя голова! — воскликнул другой рудокоп. Он работал лежа на спине — проход был так низок, что невозможно было даже стать на колено. Он попал в самую точку: воздушный колодец находился далеко, и двум мужчинам, женщине и мальчику, работавшим в этом подземном коридоре, с каждым часом дышалось все тяжелей. Особенно трудно приходилось забойщикам, они со свистом вдыхали воздух, когда поднимали кирку.

Все замолчали, а Киребо подмигнул Филиду в знак того, что он шутит. Мальчик ответил гримасой. Корзина была уже полна. Он взял ее за ручки и потащил к выходу, пошатываясь от непомерной тяжести.

Метров пятьдесят ему пришлось идти, согнувшись вдвое. Мышцы его рук, едва удерживавшие корзину, были напряжены, спина отчаянно ныла, пот градом катился с лица. Наконец он дошел до колодца, здесь можно было выпрямиться во весь рост. Филид поставил корзину, вытер пот руками. Он был совершенно гол, как и все, кто работал здесь. Только на Эуноа была кое-какая одежда.

Мальчик стоял, жадно вдыхая пьянящий, свежий воздух. Потом взвалил корзину на спину и стал карабкаться по шатким деревянным ступенькам вверх.

Снаружи уже сгустились сумерки. Оглушительно стучали огромные дробилки, перемалывающие руду. Со вздохом облегчения мальчик отдал корзину рабу, приставленному к дробилке. Тот опорожнил корзину, протянул ее Филиду и тотчас же вернулся на свое место.

Через полчаса работавшие с Филидом люди также поднялись по

лестнице кверху. Из дальних галерей к колодцу потекли мужчины и женщины. Мало кому хотелось поговорить друг с другом. Все молчали, измотанные работой. Продолжительность рабочего времени измеряли горевшие по двенадцать часов лампы. А вокруг колодца уже толпились другие рабы: одна смена следовала за другой непрерывно.

Наверху рабы работали не покладая рук — одни промывали руду, другие были приставлены к дробилкам и мельницам. Неподалеку горели плавильные печи. Красные вспышки прорезали вечернюю мглу. Было холодно — с гор налетал осенний ветер. Рудокопы торопливо набрасывали на себя тряпье, служившее им в нерабочее время одеждой, и расходились, наскоро попрощавшись друг с другом.

Филид с матерью быстро добрались до своей хижины, похожей на все остальные хижины селения — наспех возведенные стены, травяная крыша. Эуноа проворно зажгла огонь в грубо сложенном очаге, и единственная комнатка сразу наполнилась едким дымом, которому некуда было выйти. От дыма слезились глаза, щипало в носу. Вскоре начал чадить и кокосовый светильник, в котором почти не было масла. Бобовый суп быстро закипел. Женщина тщательно помещивала его чистой палочкой: на деревянную мешалку не хватало денег.

Эуноа присела к очагу на камни, а Филид предпочел расположиться на тростниковой циновке, заменявшей обоям и стулья, и кровать. Эуноа тщательно поддерживала в доме чистоту: в циновке почти не было блох, хотя Филид знал, что соседские хижины буквально кишели паразитами.

Мать и сын сосредоточенно макали в суп выданную им порцию темного черствого хлеба, испеченного из овсяной муки. Филид, как всегда, глотал без разбору, с волчьим аппетитом. Потом, пока мать мыла миску и тарелки, он вынес мусор и тщательно подмел пол, не забыв ни единого уголка, ни единой ямки в утопанной глине. Мать с улыбкой посмотрела на него.

— Ты сегодня задумчив, сынок. Что с тобой?

— Ничего. Я знаю, ты любишь чистоту, мама, — ответил Филид. — Ты совсем не такая, как мать Цопирио или Лисида.

— Сравнивая себя с соседями, никогда не надувайся от важности, как лягушка из басни. Твой отец наказал бы тебя, услышав эти слова.

Филид вздохнул. Воспоминание об отце, как всегда, омрачило им настроение. Он попытался отвлечь мать от грустных мыслей.

— Когда мы выплатим долг, мы вернемся в город и опять будем свободными. Я найду работу, ты снова выйдешь замуж, у тебя будет настоящий дом, резная деревянная кровать и медная посуда. Ты сможешь отпустить длинные волосы, как все свободные женщины, и купить себе шерстяную накидку.

Мечты Филида не шли дальше, но мать опустила голову. Умирая,

отец оставил долг в сорок мин, на эти деньги можно было купить сорок прекрасных рабов. Смогут ли они когда-нибудь выплатить такую огромную сумму? Но Эуноа постаралась скрыть сомнения.

— Я жила в деревне, когда твой отец женился на мне, и никогда не видела города. Он был городским рабом, но получил свободу, сражаясь на военном корабле. Если бы Деметра не стала преследовать нас неизвестно за какие проступки, если бы она не погубила четыре раза подряд все урожаи с нашего крошечного поля, мы бы жили припеваючи, не оказались бы в этом проклятом месте. От дыма и жара печей здесь не осталось ни былинки, словно Аид обдал эти места своим дыханием!

Эуноа вскрикнула и стукнула себя по губам: властелин тьмы мог навлечь беду на того, кто произносил его имя.

В это мгновение послышались приветственные слова, и на пороге вырос Киребо в сопровождении Мессенио, второго рудокопа, работавшего с ними вместе. Двери в хижине не было, и только когда северный ветер становился особенно невыносимым, Эуноа ставила у порога деревянную раму с натянутой на ней старой воловьей шкурой.

— У нас важные известия, поэтому мы пришли к вам ночью, — сообщил Киребо.

Вместе с Мессенио он внимательно следил за тем, чтобы не войти в дом с правой ноги, что было дурной приметой. Эуноа предложила гостям циновку, извинилась, что в доме нет стульев. А Филид с любопытством спросил:

— Важные известия, говоришь?

Киребо кивнул:

— Наконец-то к нам прибыл из Афин полета, его прислали для проверки. Теперь старый демон получит по заслугам. Полета убедится, что в таких условиях работать нельзя. С тех пор, как хозяин приказал вырубить оставленные для опор глыбы, чтобы воспользоваться и этой рудой, тебя, того и гляди, может раздавить, как таракана. Кажется, есть закон, запрещающий вырубать опоры. Тому, кто его нарушит, не миновать большого штрафа.

— Феоген жаден, как стервятник, — мрачно пробормотал Мессенио.

— А как зовут полету? — спросил Филид.

— Агатом, — ответил Киребо. — А что до жадности, так среди воронов, которые дырявят горы, чтобы выклевывать из них свинец и серебро, политые нашим потом, нет ни одного не жадного.

— В Афинах было лучше, а, Киребо? — спросил Филид. Он знал, что разгневанный хозяин отправил раба в шахту, обвинив его в краже. Киребо был раньше домашним рабом, пользовался большей свободой, чем другие. Стоило при нем заговорить об Афинах, как он с тоской принимался вспоминать этот город. По «привольной» афинской жизни он тосковал больше, чем по оставшейся там жене.

— Ты прав, мальчик. Эх, увидеть бы агору и храм двенадцати олимпийских богов, что в сердце Афин. А на восточной стороне центральной площади яблоку негде упасть: там находится базар. Если у тебя есть деньги, ты можешь купить все, что пожелаешь: великолепные наряды и обувь из тонкой кожи, драгоценные украшения, богатую утварь, любые лакомства, свежие овощи и фрукты, такие сыры, что пальчики оближешь, вино, которое я, несчастный, не пил уже столько лет, и которое ты, мальчик, никогда и не пробовал! А люди! Афинские купцы и заморские торговцы в роскошных одеяниях из тончайшего полотна спорят, божатся, рвут на себе волосы, плачут — нарочно, конечно, — но это же так интересно!

— А сладости?

— Сладости? — спрашивает этот котенок. О, Дионисий! Каких только сладостей там нет! Одно только печенье из муки, орехов, меда и патоки, с коринфским изюмом чего стоит! А сколько там интересного! Циркачи, которые глотают огонь! Различные состязания! Певцы, которые развлекают под вязами клиентов цирюльника! Театр теней, кукольный театр! Ах, да поможет мне Венера! Я забыл самое прекрасное! На площади под портиком, украшенном божественными рисунками, собираются самые красивые девушки Афин!..

— Почему ты, Киребо, с твоим красноречием не стал оратором? — перебила его Эуноа.

— Да, — поддержал ее, к удивлению всех присутствующих, Мессенио, — он, как те болтуны на площади, говорит только о хорошем, чтобы дурачить легковверных. Город! Хорошенькая там жизнь для простого человека! Почему ты не рассказываешь об узких, обожженных солнцем улочках, где нечем дышать, о жалких лачугах, где ночи напролет пируют блохи и вши? О той вони, которая стоит на улицах, о тех, кто, несмотря на законы, выливает грязную воду из окон на улицу. Прежде чем попасть сюда, я тоже побывал в Афинах. На улице Элиузи я увидел тельце мертвой новорожденной девочки, его выбросили на свалку. Мы в деревне, по крайней мере, не бросаем своих детей, даже если рождается девочка, не обрекаем их на голодную смерть.

— Что же ты не остался в своем раю, удрал из своей вонючей хижины? И попался потом, как последний простофиля. Если тебе ничего здесь не нравится, оставался бы на полях своей Спарты, среди камней и ящериц!

Мессенио молча поводит палочкой по полу, потом спросил:

— Знаешь, что такое криптия? Ты, горожанин, знающий все?

Киребо отрицательно покачал головой, Филид тоже.

— У моего старого хозяина, знатного горожанина Эпитада, был сын. Когда он подрос, я понял, что мне грозит. Один верный человек рассказал мне, что по спартанским обычаям каждый юноша должен

убить по крайней мере одного раба. Именно так молодые спартанцы учатся убивать. Этот обычай называется криптия, или тайная война, потому что убийство должно произойти ночью, тайно ото всех. Я знал, что этот юноша меня ненавидит: однажды один на один я одолел его в драке. Он ничего никому не сказал, но я понял, что он мне этого никогда не простит. Я решил бросить жену и двухлетнюю дочку и бежать. Но едва я добрался до перешейка, как меня схватили. Мне повезло. Мне не поставили клеймо, как беглому рабу, не отправили обратно в Спарту, а продали на делосском рынке. И теперь я должен ежедневно приносить хозяину семь драхм, работая в шахте, за столько меня нанял Феоген. Кто знает, что стало со мной дочуркой. Ее зовут Пиррин, — подавленно продолжал он, — она светловолосая, как ее мать, уроженка Севера. Во всей округе ни у кого нет таких серебристых кудрей, как у нее.

Грустная история обычно молчаливого Мессенио глубоко тронула всех. Киребо, человек легкомысленный, но добрый, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, перевел разговор на другое.

— Пора расходиться. Завтра до рассвета нам опять надо спустаться в свою преисподнюю. Мужайтесь. Уверен, что Агатон нагонит страху на нашего стервятника, и мы каждый день будем пить густое вино, а в шахту нас станут носить на носилках!

Все принужденно засмеялись. Мужчины надвинули капюшоны и вышли. Эуноа и Филид молча легли спать.

На предрассветном небе еще сверкали звезды, когда дрожащие от холода мать и сын присоединились к своим товарищам. Навстречу им брели темные фигуры возвращавшихся с работы. Встречаясь в темноте, люди не обменивались приветствиями — усталость и недосяпание порождали отчужденность.

Тусклые огоньки еще светились в хижинах. А на площади, перед колодцами Феогена, вырывавшийся из печей огонь окрашивал землю в кровавый цвет и угрожающе высвечивал фигуру «стервятника».

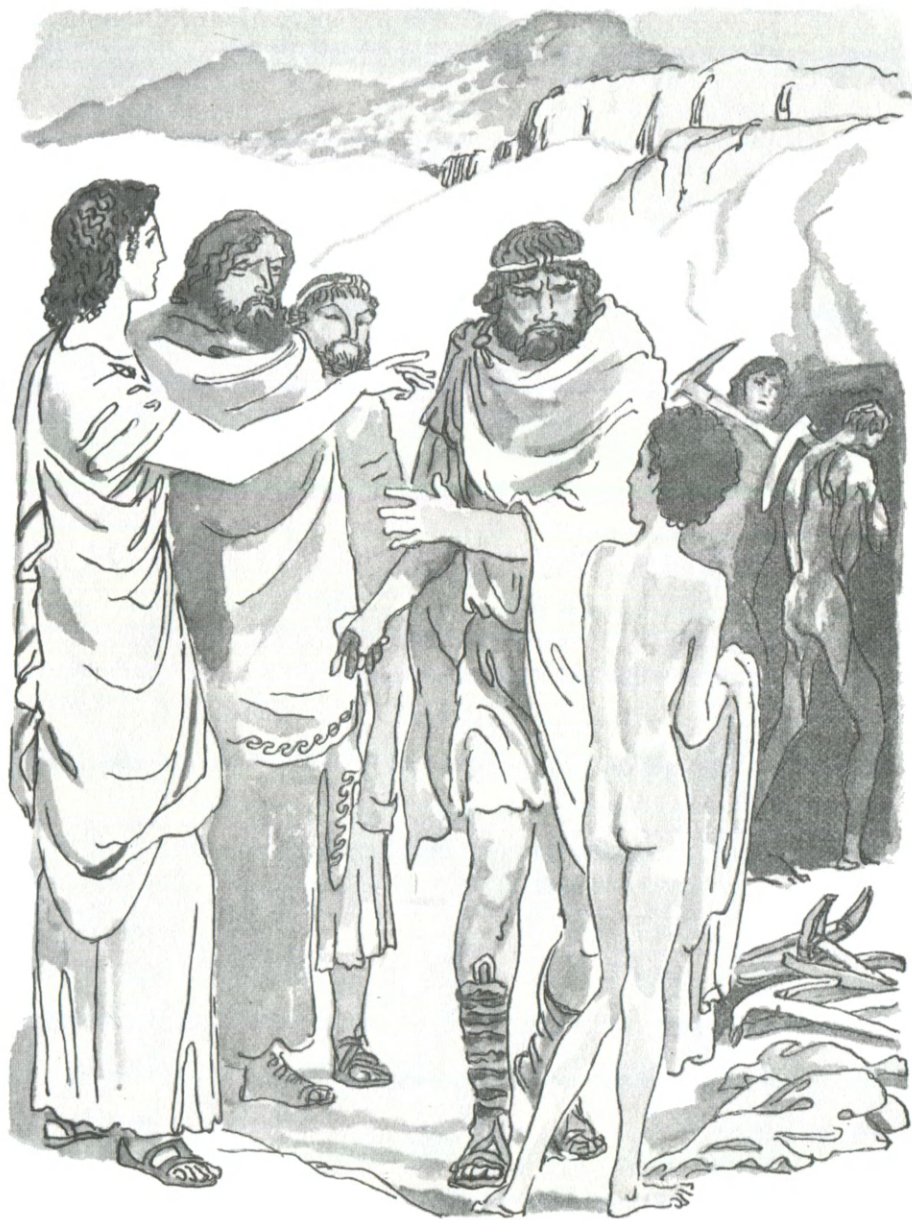
Феоген прохаживался вдоль здания, где располагались надсмотрщики. Он кутался в шерстяной шарф. Его скрипучий, всегда раздраженный голос сегодня был неспокоен, в нем то и дело проскальзывали нотки неуверенности. Рядом с ним, среди почтительной группы прислужников, возвышалась фигура незнакомого мужчины. Филид толкнул мать локтем.

— Это и есть полета?

— Он самый, — ответил Киребо, услышав вопрос мальчика.

— Наверное, он уже поработал. Взгляните на морду старого «стервятника». Он весь зеленый от злости.

Они уже проходили мимо группы надсмотрщиков. Один из них раздавал рабам кирки и лопаты и складывал в кучу тряпье, которое они снимали. Филид, раздеваясь, случайно толкнул надсмотрщика.



— Ты нарочно толкнул меня, грязный гаденыш!

Полета поднял руку:

— Успокойся, успокойся, добрый человек, мальчик снимал через голову тунику, он не мог тебя видеть. А ты подойди сюда.

Смущенный Филип приблизился к полете.

— Ты еще слишком мал, чтобы работать в шахте, но, мне сдается, у тебя мускулистые руки. Как тебя зовут?

Прежде чем мальчик успел ответить, Феоген торопливо рассказал историю Филипа и его матери. Полета с состраданием покачал головой.

— Тебе страшно спускаться в колодец?

Филип колебался.

— Страшно? — снова вмешался Феоген. — Но почему же, полета? Мальчик привык к такой жизни, а моя шахта безопасна. Не так ли? — заключил он, озираясь по сторонам.

Прислужники торопливо закивали головами в знак согласия, рудокопы молча переминались с ноги на ногу.

— Хорошо, с наступлением дня мы увидим, прав ты или нет. Я тебе верю, но в Афинах рассказывают разные истории о здешних шахтах.

— Конечно, конечно. — Лицо Феогена посинело. Он яростно набросился на рабов: — Чего вы ждете! Думаете, вам зачтется то время, которое вы болтаетесь здесь без дела? А ну, спускайтесь вниз!

Все молча направились к шахте. Но под землей люди переглянулись и громко расхохотались. Больше всех смеялся Киребо.

— Зевс-спаситель! — воскликнул он. — Наконец-то появился человек, который рассудит всех по справедливости. Этот Агатон мне нравится! У него лицо честного человека!

Более двух часов они дружно работали. Когда мальчик вынес на поверхность пятую корзину, выглянувшее из-за гор солнце уже заливало яркими лучами пустынную равнину. Когда на обратном пути Филип достиг места, где приходилось передвигаться ползком, он увидел целое полчище крыс, устремившихся из боковых галерей, где работали другие рудокопы. Крысы двигались к центральному стволу шахты. Устыдившись минутного страха, Филип ничего не сказал товарищам. Он даже стал работать еще быстрее, яростно наполняя корзину.

— Если так пойдет и дальше, то сегодня выйдем отсюда раньше! — воскликнул он радостно.

Эуноа шутливо стукнула его по затылку.

— Пошевеливайся! Ты только и думаешь об ужине.

Сгибаясь под тяжестью ноши, Филип пошел к стволу. На перекрестке галерей он снова увидел крыс.

— Что тут делают эти отвратительные твари? — пробормотал он.

Мальчик тщательно обходил их, карабкаясь вверх по лестнице, и

наконец выбрался на свежий воздух. Здесь он увидел полету. Тот шел ему навстречу вместе с Феогеном. Видимо, они направлялись к колодцу. Мальчик поднял корзину, чтобы передать ее рабу, приставленному к дробилке. И в ту же минуту почувствовал, как земля дрогнула у него под ногами. Послышался глухой гул. Филид закричал:

— Землетрясение!

Он без раздумий бросился к колодцу. Туча белой пыли вырывалась из его зева, зловеще распухая. Филид недоуменно смотрел на нее.

— Не пускайте мальчика, — слышался чей-то голос, и полета преградил ему путь.

Четыре крепких руки схватили Филида за плечи. Тогда он закричал во весь голос, попытался вырваться, зарыдал, начал кусать чьи-то руки. Потом из пыли появилась фигура Агатона. Бледный, с всклокоченными волосами, он подошел к Филиду. Мальчик затих и некоторое время вопросительно смотрел на него.

Полета покачал головой:

— Ниже четырех-пяти метров все завалено. Что там происходит, не знаю. Смотрите, мальчик потерял сознание.

Рабы осторожно положили Филида на землю. Агатон с жалостью смотрел на него, обдумывая что-то. Потом сказал:

— Отнесите его в мою повозку! Скажите вознице, чтобы позаботился о нем и куда не отпускал. Теперь мальчик принадлежит мне.

Феоген испустил короткий вздох.

— Не беспокойся, я заплачу тебе за него по рыночной цене. А что до этого, — он показал рукой на шахту, — то ты ответишь по закону. Я немедленно еду в Афины, где доложу собранию старейшин обо всем, что здесь произошло.

А к шахте со всех сторон стекались рабы — мрачные мужчины, плачущие женщины. Полета поднял руку, призывая к вниманию.

— Те из вас, кто принадлежал Феогену, оставайтесь на местах, но не работайте до тех пор, пока из Афин не придут распоряжения.

Феоген, казалось, не слышал. Согнувшись в три погибели, он рвал на себе одежду и волосы, посыпал пылью голову в знак траура.

Агатон прошел мимо и раздраженно сказал:

— Я посочувствовал бы тебе и твоему горю, если бы ты оплакивал не потерянные деньги, а погибших.

Феоген с ненавистью взглянул на него.

— Конечно, мне жаль и погибших, но пусть Орка поглотит и тебя вместе с ними, — пробормотал он. — Я потерял шестьдесят рабов, а каждый из них стоил около трехсот драхм. О, я несчастный! — И он продолжал бить себя в грудь и царапать щеки.



ИСТОРИЯ РУФО

Те из вас, кто читал книгу Д. Джованьоли «Спартак», вновь встретятся со своим любимым героем на страницах этой книги Джулианы Болдрини. Правда, писательница в своем рассказе глядит на предводителя восставших рабов главным образом глазами мальчика Руфо. Он бежал из отцовского дома, восстав против своей рабской доли. Действие рассказа ограничено начальным периодом восстания. Но в нем вы найдете новые подробности о жизни рабов в ту эпоху.

Древние писатели называли восстание Спартака «невольничьей

войной». Она нанесла жесточайший удар рабовладельческому Риму и охватила практически всю Италию. Восстание рабов было подавлено, Спартак погиб, остатки его армии истреблены, но его дело оставило в умах современников глубокий след. Даже такие писатели, как Плутарх и Аппиан, которые сами были рабовладельцами, писали о Спартаке с большим уважением и считали, что прежний варварский способ эксплуатации рабов опасен для самих эксплуататоров и потому изживает себя.

* * *

Руфо нечасто мог поваляться на берегу канала, который его семья с огромным трудом прокопала от реки до своих полей, где выращивались овощи. Дел в небольшом хозяйстве было много, дни казались очень короткими.

Но сегодня день был особый: пшеницу — всю до последнего колоса — обмолотили и чистую, без мякины, ссыпали в закрома. Утром отец затянул ремень на тунике и надел сандалии, которые много лет считались новыми, потому что он обувал их крайне редко. Затем отец собрал семью возле деревянного идола, такого древнего, что его бородатую голову почти нельзя было разглядеть. Руфо считал, что это был Пан и мог поклясться, что у идола были заостренные уши с волосками и коротенькие рожки. Но кто бы он ни был, это был защитник семьи и имущества, хотя никто, даже дедушка, не помнил, как эта фигурка оказалась в их доме.

Альбина держала венок из цветов, а мать высоко подняла чашу с молоком в знак того, что оно предназначается покровителю дома. Отец пнул ногой собаку Вафро, но не сильно, чтобы та замолчала, — она мешала ему говорить. Но он все равно говорил с трудом — недаром его звали Бальбо, Заикой. Он не мог произнести и фразы, не споткнувшись на каждом слове.

— Ты — защитник нашего дома и нашего поля, — наконец выговорил он. — И знаешь все о нас со времени отца моего отца, а может, и раньше. Мы уже благодарили тебя за урожай, который ты нам послал. За него мы получили две серебряные и три бронзовые монеты, как раз то, чего нам не хватало, чтобы откупиться от неволи. Завтра, как только хозяин, который живет в Капуде, сообщит об этом в магистрат, ты станешь покровителем не раба, а свободного человека.

Сказав это, он со счастливым видом вздохнул.

Маленькая Алиа рассмеялась, хотя и не понимала, что происходит. Не только она — никто не мог оставаться серьезным. Мать поторопилась вылить молоко на жертвенник и положить к подножию цветы.

Руфо проводил отца до больших камней, откуда тропинка, бегущая среди зарослей бурьяна, вела в город, белевший вдалеке. Он сделал вид, что не слышит голоса звавшей его матери. Мальчик не чувствовал угрызений совести: пусть за овцами сбегает его брат Липпа. Ведь он — Руфо — старший, хотя и старше Липпы всего на один год.

Руфо был слишком возбужден и хотел остаться один, чтобы обдумать то счастье, которое свалилось на их дом. Он лежал на теплой земле у канала, и ему было очень хорошо. Что-то твердое стукнуло его в подбородок, и он услышал веселый голос:

— Привет, соня! А где твой отец? Почему он не прыгает от радости?

Руфо разгрыз орех, брошенный его другом, и, смеясь, ответил:

— Отец пошел в Капую.

— Ах да, за вольной.

Руфо не удивился. Среди рабов, живших в долине Вольтурно, каждый знал о делах соседей.

— Да, боги благосклонны к нам, Маччо. Но сколько лет мы рабски гнули спину, обрабатывая эти поля, мы все, вся наша семья, кроме разве двух братьев прадедушки, которые сложили головы неизвестно где. Дедушка рассказывал, что они сражались за Ганнибала.

Маччо плюнул в воду:

— Пусть вода унесет эти слова, пусть завистливые языки отсохнут. Ты знаешь, что я думаю: меня зовут Маччо-языкастый, потому что я надо всеми насмехаюсь. А ты-то знаешь, как я ненавижу эти поля. Я бы...

— Знаю, знаю, ты мечтаешь попасть в Капую, в школу гладиаторов.

— О богиня Фортуна! Разве есть что-нибудь лучше жизни гладиаторов? У них всегда вдоволь вкусной еды и густого вина, у них бани с мраморными бассейнами и благовониями. У них прекрасные женщины, а победители получают полные кошельки золота.

— И на каждом шагу их подстерегает смерть,— подхватил Руфо.— Нет, Маччо, тебе вряд ли понравилось бы лежать на арене, уткнувшись лицом в землю, и чувствовать, как окованная железом нога наступает тебе на затылок. Вряд ли приятно ждать, пока сидящие на трибунах опустят вниз палец. Не я один так думаю: недаром гладиатор, по имени Спартак, сбежал из Капуи два месяца назад. А разве он не был самым сильным среди своих товарищей? Ни он, ни другие, бежавшие вместе с ним, не чувствовали себя счастливыми. Ведь ими распоряжался этот пес Лентул, и они постоянно боялись, что им вот-вот могут поставить раскаленным железом клеймо и даже распять на кресте!

— Лентул рыскал за ними по горам, как борзая, но так и не смог их поймать,— ответил Маччо, ему приятно поговорить о том, что было

у всех на языке.— Я слышал, Спартак подошел к Везувию под Неаполем, а с ним свыше тысячи человек. Говорят, что где бы он ни проходил, к нему присоединяются толпы беглых рабов. Еще я слышал, что в Риме собрали против него целое войско.

Заинтересованный этим рассказом, Руфо поднялся с земли. И тут увидел, что к дому подходит отец. Он быстро распрощался с другом и побежал, крича на ходу: «Отец! Отец!» Тот не обернулся. Когда удивленный Руфо вошел в дом, там царило отчаяние. Отец сидел возле очага, закрыв руками лицо. Он молчал и лишь изредка вздыхал глубоко и тяжело. Мать словно окаменела. Она стояла у стены, лицо ее стало белым, как выбеленная шерсть, глаза были широко раскрыты. Одной рукой она опиралась на плечо старшей дочери, Альбины. Дед покачивал головой, как бык, которого оглушили ударом в затылок. И все же он первый пришел в себя.

— Если Муммио Америно проиграл все: и земли, и рабов, и те сбережения, которые ему были доверены, нам нечего надеяться на свободу. Бесполезно обращаться в магистрат. Даже самые известные адвокаты ничего не смогут получить там, где ничего нет.

— Два удара фишек проглотили сорок югеров земли и нас вместе с ними,— с отчаянием произнес Бальбо.

— Нам придется теперь бросить дом и уйти? — спросила Сульпиция.

Отец покачал головой:

— Нет, нет. Мы можем оставаться здесь и работать на нового хозяина. Теперь мы принадлежим Сазитео Тибуртино, который владеет более чем десятью мельницами и огромным участком земли. Завтра придет его поверенный, чтобы измерить наши поля и пересчитать наш скот...

— И нас тоже! — прервал Руфо. — Но меня-то он недосчитается! Мать протянула к нему дрожащую руку.

— Сынок, что же нам остается делать? Бесполезно сетовать на судьбу, если Фортуна отвернулась от нас. Мы же должны что-то есть, чтобы жить.

— Слишком долго Фортуна помогает только богатым и сильным, таким, как Сазитео. Мы работали, как волы, чтобы собрать выкуп и оплатить нашу свободу. Мать, я не хочу больше быть рабом — ни Сазитео, ни кого другого. Мне пятнадцать лет, и я уже мужчина. Вскоре мне придется взять в жены ту, на которую мне укажет хозяин, чтобы наплодить новых рабов для него!

— Что ты задумал? Куда ты пойдешь? — спросила мать.

— Хочу убежать на Везувий, к Спартаку.

— Вы с сыновьями Терцилия снова говорили об этом гладиаторе, — перебил его Бальбо, и Руфо только теперь понял, что проговорился.

— Чего он думает добиться, а вместе с ним и те несчастные,

которых он повел за собой? — добавил дед, раздраженно размахивая палкой. — Сын прав, а тебе, внук, ума еще надо набираться. Рим разметет этих безумцев, как ветер разметает сухие листья. Когда разражается буря, то простым людям, таким, как мы, остается только склонять головы.

— Дедушка говорит правду! — сказала мать.

Слова старика немного успокоили всех. Каждый молча занялся своими обычными делами. Когда Липпо пригнал овец, всем стало немного легче: здоровый, сильный, краснощекий брат Руфо был спокойным парнем, любил хорошо поесть, поиграть на тростниковой дудочке, которую он сам себе сделал, охотно брался за любую работу.

Ужин прошел не так печально, как можно было ожидать. Только Руфо все время молчал, и даже общая любимица Алиа, младшая из детей, не могла развеселить его.

— Сегодня я буду спать в сарае, — сказал Руфо, едва проглотив последний кусок. — Там прохладнее и слышно, как ведут себя овцы, а мне завтра пасти их.

Мать положила ему в холщовый мешок кусок овсяного хлеба и горсть орехов. Потом, потихоньку от деда, всегда строго отмерявшего еду, добавила сыра.

Лежа на душистом сене в сарае и глядя на луну, Руфо вспомнил, как мать заботливо собирала ему еду на завтра. Он почувствовал угрызения совести. Но раздумывать было поздно. Ничто не заставило бы его работать на неблагодарных хозяев, если бы не надежда на свободу. Ведь без надежды нет жизни.

Полночь застала его километрах в пятнадцати от дома. Ночь была прохладной, и мальчик легко шагал по мягким извилистым тропинкам, проложенным мулами и повозками. Руфо ничего не боялся: светила луна и поля были пусты. Он прошел по заснувшей Ачерре и, только миновав последнюю хижину — до Везувия оставалось несколько километров, — впервые позволил себе отдохнуть. Он погрузил в ручеек уставшие запыленные ноги: перевязанную шнурками обувь он перекинул через плечо. Пока ноги отдыхали, он, чтобы не было скучно, вслух рассуждал:

— То-то и оно! Легко сказать — Спартак! Но пойди найди этого Спартака в лесных дебрях на этой горе! Она огромная, до самого неба. Да и оставит ли меня Спартак у себя? Он ведь может сказать, что я еще мальчишка и должен сидеть дома...

— Пожалуй, на этот раз твоя голова останется на твоих плечах, дружище, — раздался вдруг чей-то голос.

Руфо чуть не умер от страха: из-за изгороди за его спиной появилось двое огромных, бородатых, похожих на медведей мужчин. На них были туники и дорожные плащи. Проколотые уши выдавали

в них рабов. Оба были вооружены, хотя рабам это запрещалось. Один вытащил из-за пояса огромный нож, другой держал копье.

— Плохого тебе не сделаем, похоже, ты наш! — продолжал мужчина с грубым голосом. — Правда, ты еще щенок, я бы сказал, но хорошей породы. Удравший из деревни раб, верно?

— А вы кто? — наконец осмелился проговорить Руфо.

Ему ответил другой, тот, что был старше и серьезней:

— Если бы мы не слышали, как ты тут разговаривал сам с собой, то ответили бы иначе. Но раз ты ищешь Спартак, то тебе повезло. Мы его дозорные, возвращаемся в лагерь.

— Ис важными вестями, слава Гекате! — добавил словоохотливый.

— Замолчи, Гаргильоне! — резко прервал его старший. — Твой язык доведет тебя до беды.

— Вы можете не опасаться меня, — сказал Руфо, — я тоже раб, и если меня поймают...

— Знаю, нам всем вместе держать ответ. А теперь пойдем! — И все трое тронулись в путь.

Руфо, еще недавно трепетавший от мысли, что попался в руки дорожных разбойников, был теперь вне себя от радости: наткнуться на дозорных, прийти в лагерь под их защитой, — что могло быть лучше?

Как только кончилась ровная тропа и они стали карабкаться вверх по склону горы, он подумал, что ему повезло вдвойне: хотя уже рассвело, карабкаться по скалам было нелегко, и даже если бы ему подробно описали эту дорогу, найти ее не так-то просто. Оба его спутника шли молча, время от времени поглядывая то на какой-нибудь куст, то на одинокую сосну, то на белеющую скалу причудливой формы: это были явно путевые приметы.

Они долго карабкались вверх. Но внезапно крутой скалистый склон как бы раздался: тропинка вывела их на пологие террасы, где был разбит лагерь.

Внезапно со всех сторон их быстро окружили дозорные, которых Руфо не заметил, но которые наверняка давно уже следили за их приближением. Теперь оживился и старший: раздались крики и приветствия, посыпались вопросы и ответы.

Из большой, разбитой в центре лагеря палатки вышел сильный, высокий человек, со смуглым лицом и четко очерченным профилем. Руфо почуствовал, как острый взгляд скользнул по нему.

Гаргильоне сразу же закричал:

— Будь славен, Спартак! Смотри, кого мы тебе привели! Сказать по правде, мы чуть не прикончили его, чтобы не бродил по ночам, но потом подумали, не сделать ли из него пугало для римских солдат!

Тот, что постарше, перебил его:

— Есть новости!



— Так говори же быстрее! У меня нет секретов: ни от старших товарищей, ни от новичков. Все имеют право знать, чем они рискуют. Спартак с легкой улыбкой взглянул на Руфо. У мальчика радостно забилося сердце.

— Мы всего на несколько часов опередили претора Клодия Глабра, которого сенат выслал против тебя с тремя тысячами солдат!

— О! — засмеялся Спартак. — Какая честь для кучки беглых рабов! Но времени, чтобы уйти от Глабра, у нас маловато. Дорога здесь одна, и если мы по ней пойдем, то нам с ним не разминуться. — Он повернулся к столпившимся вокруг него людям, которых к этому времени собралось порядочно, и громко произнес: — Итак, дело пахнет осадой. Хватит ли нам продовольствия?

— Хлеба осталось дней на шесть! — послышались голоса. — Нет, меньше!.. Воды, воды у нас мало.

Спартак поднял руку и сказал:

— Хорошо, пусть зайдут ко мне Апоний и Аллобраго. — И он исчез в палатке вместе с теми, кого вызвал, — наверное, это были его военачальники.

Все это время Руфо не сводил со Спартака глаз. Обращенная к нему улыбка Спартака, взгляд его решительных глаз наполнили сердце мальчика радостью: он был счастлив, что покинул отцовский дом и пришел сюда, где его сразу же признали мужчиной, единомышленником и другом этих прекрасных и мужественных людей. Руфо вытащил из мешка кусок хлеба и, с аппетитом, энергично жуя его, пошел за Гаргильоне.

Утром дозорные сообщили, что трехтысячное римское войско во главе с Клодием — у старика был верный глаз — преградило путь к орлиному гнезду Спартака. С самой высокой точки лагеря были видны позиции римлян.

Началась осада. Все в лагере для Руфо было новым и приводило его в восторг. Ему дали короткую пику и кинжал, и он присоединился к десятку таких же поселян, как и он. Они тоже убежали от своих хозяев, чтобы не гнуть спины на полях и мельницах. Рабы здесь говорили на различных языках и принадлежали к разным расам. У своих хозяев они выполняли самые разнообразные работы. О своей прежней жизни они рассказывали с простотой и естественностью людей, много переживших. Их рассказы походили один на другой. Невыносимая жестокость, жажда свободы — вот о чем говорили они друг другу. Среди восставших встречались и свободные люди: крестьяне, выселенные из собственных домов за долги, люди, ставшие жертвами спекулянтов или жадных до золота префектов; земледельцы, потерявшие свою землю по «закону о заложенных землях». Им, пожалуй, приходилось тяжелее всех: они ушли к Спартаку, оставив свои семьи, дома, землю. Даже самые кроткие из них люто ненавидели

угнетателей и были полны решимости победить или погибнуть. Руфо видел в них братьев, верил в победу, хотя и понимал, что положение осажденных было трудным.

Через несколько дней после прихода Руфо в отряд Спартак отдал приказ:

— Нарубите дикого винограда и всего, что подойдет для изготовления лестниц. И начинайте плести их, лестницы должны быть как можно длиннее.

Все энергично принялись за работу: среди восставших было много таких, кому было привычно такое занятие: в неволе они плели изделия из болотных трав и прутьев. К вечеру было готово множество прочных лестниц, и Руфо снова увидел Спартака. Без призывных труб и барабанов сотни людей собрались вокруг палатки своего вождя. Горело несколько костров и дымный факел. Спартак говорил кратко и спокойно.

— Римляне отрезали нам путь, осаду мы не выдержим. Сначала мне показалось, что спуститься с горы по отвесным скалам, которые окружают наш лагерь со всех сторон, невозможно. Я хотел призвать вас дорого отдать свои жизни. Но теперь я знаю, что преодоление этого препятствия станет для нас залогом победы. Сегодня ночью по лестницам мы спустимся вниз. Двое из наших уже испробовали их и убедились, что это вполне возможно. Спускаться будем один за другим. Если сможем спуститься незаметно, мы спасены. Внизу мы построимся и внезапно нападём на воинов Глабра. В его лагере столько оружия и припасов, что нам хватит их до самых Апеннин. А там много людей, которые хотят присоединиться к нам. Я не сомневаюсь в вашей смелости, ведь вы предпочли борьбу и смертельную опасность скотской рабской доле.

Послышались одобрительные крики, потом наступила напряженная тишина. Люди стали готовиться к спуску: обвязывали тряпками оружие, чтобы оно не стучало о скалы, смазывали металлические части жиром, смешанным с землей, чтобы они не блестели при свете луны. Все поглядывали вниз, где в стане римлян после вечерней суматохи воцарилась тишина. Самоуверенный претор выставил несколько сторожевых постов, редкие огни выдавали их присутствие.

Руфо спуск показался игрой. Он привык карабкаться по скалам в поисках вороньих гнезд и потому через несколько минут очутился внизу, где его подхватил Гаргильоне. Но весь отряд оказался внизу только часа через два. Странно было наблюдать, как по сплетенным из лозы лестницам в напряженной тишине ползли тени, похожие на осторожно передвигающихся пауков.

Внизу отряд бесшумно и быстро построился. И тогда раздался волчий вой — условный сигнал атаки.

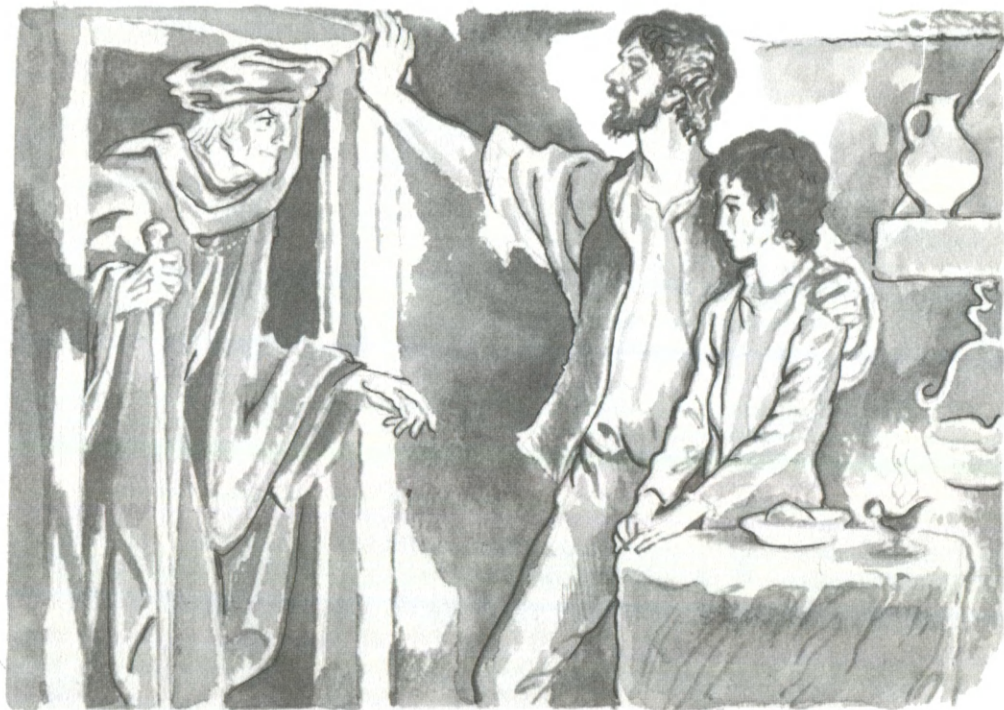
И началась бойня: многие римские воины успевали только про-

хрипеть перед смертью, ощутив у горла кинжал. Застигнутые враг-сплох, среди сна, люди Глабра защищались как могли, но гибли один за другим. Восставшие яростно уничтожали палатку за палаткой.

Руфо и Гаргильоне бились рядом. Они закололи пятерых римских воинов, но крик шестого поднял на ноги всю палатку, куда они с товарищами проникли. Поднялся страшный переполох. Мальчик оказался в гуще сражающихся. Он продолжал разить налево и направо, пока древко его копья не сломалось. Тогда он выхватил из ножен висевший на шее кинжал. Он плохо видел, что происходило вокруг: в глазах мельтешили железные доспехи врагов, слышалось частое дыхание Гаргильоне. Когда римский меч вонзился Руфо в бок, он не понял, кто нанес ему удар, куда он упал — на тело врага или друга? Но прежде чем красная пелена застлала ему глаза, он услышал ликующие победные крики восставших.

У победителей не было времени на то, чтобы подобрать и похоронить погибших товарищей. А римляне позже похоронили почти три тысячи воинов, посланных высокомерным Римом против горстки рабов.

Перепачканный своей и чужой кровью, Гаргильоне вынул из одеревеневших пальцев мальчика кинжал и заткнул его себе за пояс. Этот кинжал он унес с собой на Апеннины, потом — в Мутину (Модену), потом в Калабрию. Кинжал побывал всюду, где Спартак защищал свободу рабов, громя римские легионы. А два года спустя кинжал выпал из рук Гаргильоне. Мощное восстание было потоплено в крови. Гаргильоне раздели догола и вместе с шестью тысячами его братьев распяли на кресте. Шесть тысяч крестов возвышались по обе стороны дороги от Капуи до Рима, — ужасная цепочка, которую римляне выстроили в назидание тем, кто посмеет мечтать о свободе и справедливости.



ВОДА ИЗ АРНО

Этот рассказ посвящен жизни Флоренции XIV века. Он переносит нас в иную атмосферу. Времена прямого физического принуждения рабов остались далеко позади. Многочисленные восстания рабов привели к падению рабовладельческого Рима. На территории Италии установились феодальные отношения. Здесь получили распространение новые формы закабаления людей: крестьянин прикреплялся к земле, полученной от феодала. За нее он ежегодно отработывал

определенное количество времени на господских землях или платил оброк.

Но уже в XIV веке в Италии возникают и раннекапиталистические отношения. Многие богатые феодалы, накопившие капиталы, эксплуатируя крестьян, торгуя или совершая банковские операции, ищут им наиболее выгодное применение. Многие считают, что лучше всего вкладывать деньги в промышленное производство. Такое производство приносит огромные доходы благодаря разделению труда и массовому применению наемного труда. Так возникают крупные мастерские (мануфактуры).

Капиталисты не щадили наемных рабочих. Владельцы суконных, шелкоткацких и других мануфактур прилагали все усилия для увеличения прибавочной стоимости за счет ухудшения условий жизни трудящихся.

Из рассказа о флорентийских чомпи (так называли чесальщиков шерсти, сукновальщиков и других наемных рабочих) вы узнаете, например, что зарплату им платили серебряными флоринами. Фактическая ценность этих денег была низкой. Обремененные семьями, чомпи зачастую еле сводили концы с концами. Итальянский новеллист Франко Саккетти, рассказал о семье Аньоло, который до 70 лет работал по найму.

Повествование ведется от имени его жены. Она так характеризует жизнь рабочих: «Ты чомпи, у тебя ничего нет, кроме жалкого заработка. Будь проклят тот день, когда меня отдали тебе в жены, ведь я совсем обессилела от работы».

Жестокие формы эксплуатации наемных рабочих привели к ряду забастовок и восстаний.

Наиболее крупным восстанием в Италии XIV века было восстание чомпи. Оно вспыхнуло во Флоренции в июне 1378 года. По сигналу колокола, висевшего на башне дворца приоров, стали собираться толпы наемных рабочих и бедных ремесленников. Они стали поджигать дома магнатов и богатых владельцев мануфактур. В июле чесальщики шерсти и бедные ремесленники, прекратившие работу, потребовали улучшения их материального положения и предоставления им политических прав. Одновременно был сожжен оплот угнетателей — дворец привилегированного цеха — Паладжо.

К этому моменту и относится действие рассказа. Испуганные правители Флоренции пошли на уступки рабочим и ремесленникам. Им было предоставлено право организовать три новых цеха, право участвовать в управлении городом. Были удовлетворены и некоторые материальные требования.

Но в рассказе не говорится об итоге восстания чомпи: флорентийским богачам удалось подкупить представителей бедноты и уклониться от взятых на себя обязательств.

Бальдо нашел Бетто морозной ночью, в середине февраля, когда холодный ветер пронизывает улицы и площади, а ночной дозор быстрее находит путь к дымящему теплу таверны, чем злоумышленников в темных петляющих переулках.

— Это были хорошие времена, мы оправлялись от чумы 63 года, — рассказывал Бальдо. — Я возвращался тогда с ночной смены. Идти мне было недалеко. Я тогда работал там же, где и сейчас, за двадцать четыре года я не сменил работы. Как и ныне, дом и мастерская находились в двух шагах друг от друга, но я спешил, чтобы бабушка Чиа не беспокоилась. Сначала я решил, что это мяукает кошка. Но потом ты испустил такой крик, что мог сойти за каноника во время процессии, а не за голодного малыша. Благословенный Сан Джованни! Сказать по правде, я заколебался: тому, у кого только две руки, не к чему увеличивать семью. Но платили тогда неплохо. И потом, ты раскрыл два таких черных глаза, что мне показалось — это смотрит на меня мой Бетто. Он тоже так глядел, пока его не унесла чума. А ветер продолжал выть. Словом, я отнес тебя домой. Мне не забыть, как посмотрела на меня бабушка, когда увидела меня с младенцем. Это она стала потом звать тебя Бетто, как и того... Что же, за четырнадцать лет мы ни разу ни о чем не пожалели!

Рассказ всегда заканчивался легким подзатыльником. Но рука Бальдо лишь слегка касалась кудрей Бетто, и это было для него приятней ласки. Больше мальчик ничего не знал. Да и зачем? Во Флоренции в 1364 году было хуже, чем в любом портовом городе: сначала город обезлюдел от чумы, а потом война между Висконти и Пизой, набеги наемных солдат пригнали сюда тысячи беженцев. Они заполнили третий круг городской черты. Беженцы были нищими и голодными, в их глазах застыл ужас от резни, которую им довелось увидеть. Как узнаешь, кто оставил грудного младенца в темном переулке Святого Панкратио?

Бабушка Чиа, благолепно осеняя себя крестным знаменем, говорила:

— Святой Франциск позаботился о тебе и о нас! — Она явно была равнодушна к святому из Ассизи.

— Да уж этим он отличается от францисканцев, которые только о себе и думают! — всегда подхватывал Бальдо.

Старуха грозила ему поварешкой или связкой ключей. Но в доме Бальдо, одного из самых уважаемых во Флоренции красильщиков, чомпи, которому удалось стать компаньоном, вернее, помощником цехового мастера, но отнюдь не хозяином мастерской, в этом доме, несмотря на многие беды и редкую удачу, царил мир. Стички между матерью и сыном были всегда шутливыми.

Бетто вырос в этом доме. Бальдо стал ему настоящим отцом. Жена красильщика и его маленький сын умерли во время чумы, в живых осталась только его дочка Креда.

— Мальчишка,— частенько говаривала Монна Чиа,— это то, что надо.— Чтобы продолжить ремесло, в доме должен быть мужчина.

Ремесло! Вот о чем думал Бетто жарким августовским полднем беспокойного 1378 года. Он лежал на животе у воды, там, где Муньоне впадает в Арно. Здесь промывали ткани, изготовленные в мастерской. Их очищали от масел и отправляли в сукновальную машину, откуда они выходили плотными, мягкими, шелковистыми. Это было лучшее сукно в мире.

Вот уже год, как Бетто занимался валянием сукна. Бальдо удалось устроить найденыша учеником к тому же хозяину, у которого работал он сам. Это была удача, потому что Сер Лапо Виллани был одним из самых уважаемых мастеров. Много лет он был консулом, и к его мнению в Паладжио всегда прислушивались. Все понимали: тот, у кого четыре мастерские, должен заботиться о свои интересах больше, чем тот, у кого одна.

— Чтоб он провалился, старый козел! — шептал Бетто.— Это он довел нас до такой жизни! Работы завались, а мы ворон считаем!

В самом деле, за последний месяц отношения между чомпи и «большими хозяевами» обострились до крайности. Рабочие и мелкие собственники ткацких станков не могли больше выносить ужасных условий труда, мириться со скудными заработками. А именно этот люд и обрабатывал шерсть — продукцию первого флорентийского цеха.

Это было третье выступление чомпи, к нему присоединились сотни сельских ткачей, кроме работавших по ту сторону Арно. Проходя по улицам, никто уже не слышал грохота машин, валявших сукно. Их навязчивый шум обычно начинался после утреннего звона колоколов и продолжался до вечера. По каменным плитам улицы Кальдаё не текли больше разноцветные потоки воды, пропал характерный запах, который всегда стоял в этом квартале. Сквозь приоткрытые двери виднелись замершие, молчаливые станки.

Бетто потому и пришел на реку, что ему грустно было видеть улицы такими.

— Когда ремесло тебя захватит,— сказал ему однажды Бальдо,— то, какое бы оно ни было — тяжелое или легкое,— с ним как с возлюбленной: проведешь день в одиночестве и уже кажется, что умираешь.

Но когда на площади перед Святым Панкратио собрались чистильщики, разносчики, сукновальщики, красильщики, он пришел туда первым из чомпи с улицы Кальдаё.

— Разве вы не видите, что мы хуже последней служанки, которой помыкают все, кому не лень! — провозгласил Бальдо, стоя на повозке.

Из окон монастыря на происходящее со страхом взирали капеллан и два монаха.

— Жалкую зарплату, которой не хватает даже на то, чтобы полить маслом тарелку фасоли, и ту выдают в серебряных флоринах. Говорят: пришлось воевать против папы, пришлось заплатить кондотьеру Акуто сто тридцать тысяч флоринов, тех, настоящих, а то бы он напустил на нас своих разбойников-англичан, так отличившихся под Чезеной. Ну а у нас-то что бы они отняли, эти отряды голворезов?

— Вшей! — выкрикнул под общий смех ткач из Сан-Фердинандо.

Но вот смех перешел в крики, и к дворцу цеховых ремесел двинулась толпа рабочих. Рабочие стекались со всех улиц, словно кипящая кровь города, гудевшего в лихорадке восстания. Двери огромных дворцов, за которыми скрылись «большие хозяева», оцетинились головками шипов, железные решетки надежно защищали окна. У консулов были упрямые головы: цеховые мастера колебались, но Совет цехов все не уступал. И самым упрямым был Сер Лапо.

— Что же, вот мы и занимаемся снова делом: едим, пьем да гуляем. Жаль только, что еды маловато, вдоволь не наешься, — вздохнул Бетто, потуже затягивая пояс. — Уж не взять ли удочку да не попытать ли счастья, как этот там, внизу!

Недалеко от моста Святой Троицы одинокий рыбак, согнувшись в лодке и пользуясь затишьем, вот уже несколько дней царившим в городе, пытался подхватить на крючок незадачливого пескаря. Но ему не очень везло, и сейчас он, видно, решил, что под палящим августовским солнцем, повисшим над рекой, гораздо приятнее искупаться в прохладных струях, чем ловить рыбу, дремавшую на дне. Бетто увидел, как человек стянул через голову рубашку и, оставшись в длинных чулках, прыгнул в воду.

— Он плавает, как лягушка! — со знанием дела отметил Бетто.

У Арно, реки с предательским характером, не было секретов от мальчика. Еще совсем маленьким Бетто за один прием свободно проплывал от острова под мостом Каррайа до Понте Веккио — а это больше километра.

— Однако, однако, — пробормотал про себя Бетто, — если он не остережется, то попадет в водоворот там, за скалой... ну вот, так я и думал!

Бетто бросился бежать вдоль берега. Одиному пловцу, казалось, было не по себе. Там, где минуту назад лениво струилась вода, возникли круги. И хотя пловец энергично работал руками и ногами, чтобы выплыть, он оставался на том же месте.

Бетто бежал и думал: «Даже если броситься в воду, все равно его не спасти. Надо бежать к лодке!»

Лодка спокойно покачивалась в нескольких метрах от страшной воронки. Ее мирное покачивание никак не вязалось с отчаянными рывками человека, который попал в водоворот. Бетто мгновенно прыгнул в лодку, схватил шест, служивший веслом, протянул его пловцу. Тот уцепился за него и почти выбрался, но тут силы оставили его, и он исчез под водой. Бетто, не колеблясь, нырнул, затем вынырнул, чтобы набрать воздуха, снова погрузился под воду, схватил незадачливого пловца правой рукой за волосы и, резко оттолкнувшись, поднялся на поверхность. Но здесь его ждала неприятность. Течение отнесло лодку, и если бы он попытался добраться до нее, то угодил бы в водоворот. Оставалось только плыть к берегу, а это было нелегко — он мог работать только одной рукой, другой он поддерживал тонущего. Тот был без сознания.

«А если я утону?» — подумал вдруг Бетто, и на мгновение ему свело ноги. С берега донеслись крики, они подбодрили его. Самыми трудными оказались последние метры. Потом один из мужчин, стоявших на берегу, вскарабкался на нависшую над водой ветлу и протянул ему шест.

Растянувшись на гальке, Бетто чувствовал себя как мокрый котенок, но все же он узнал спасенного. И хотя мальчик смертельно устал, у него хватило сил произнести:

— О, Пиппо, видишь, какую рыбину я поймал для тебя к завтрашней постной пятнице?

— Огромное спасибо, мой камерленг, но этим я не питаюсь. Ты что, не узнал Якопо Виллани, сына нашего дорогого консула? Если так, не виню тебя за то, что ты вытащил его из Арно. Но я лично считаю, что лучше бросить его обратно в реку!

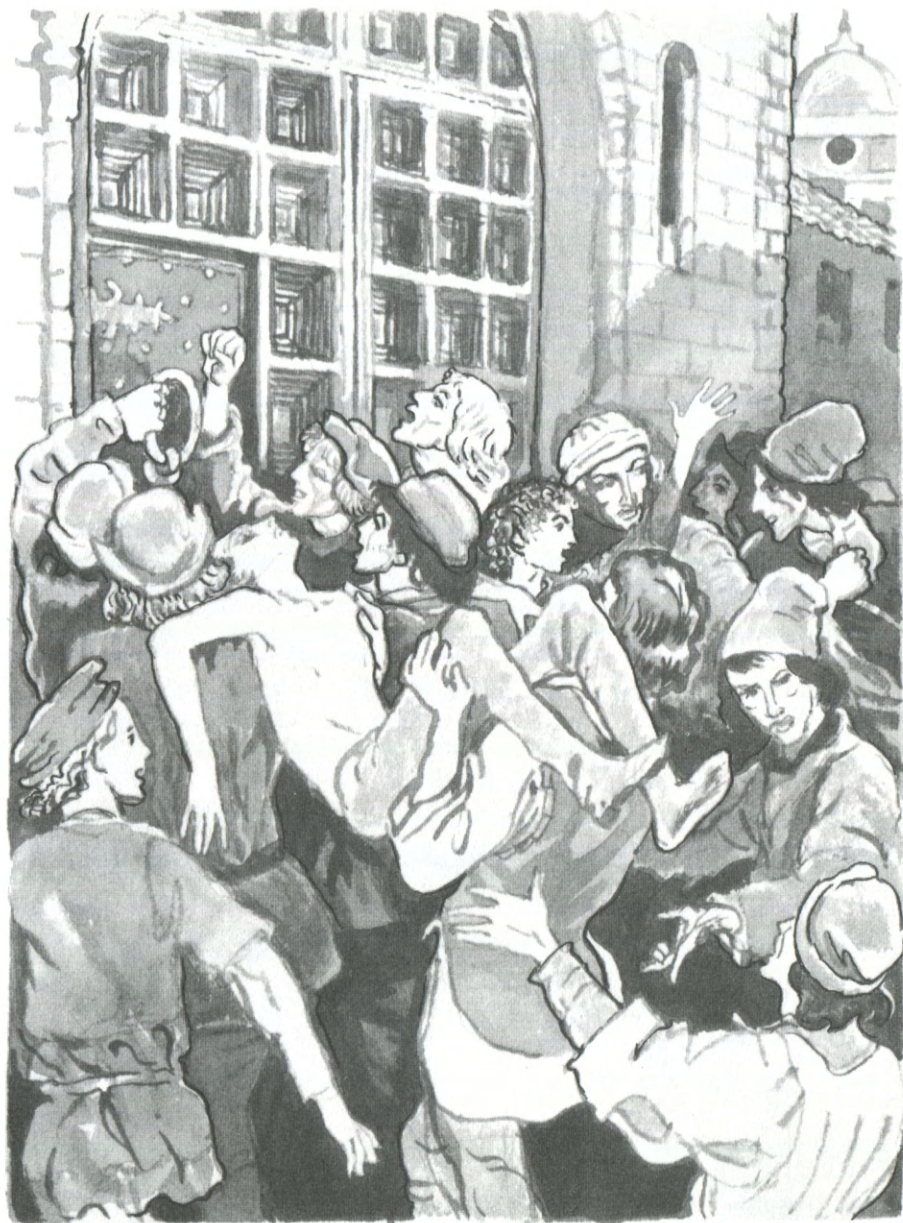
Говоря это, добряк Пиппо продолжал делать все, чтобы привести молодого человека в чувство. Но кое-кто в толпе был настроен отнюдь не по-христиански: от массы людей отделился человек со злым худым лицом. Бетто не знал этого человека. Но нездоровый румянец и разъеденные ядовитыми испарениями красильных чанов глаза выдавали его ремесло.

— На словах ты за нас, Пиппо! Чего же ты медлишь и не бросишь его в воду? Но прежде... — и в воздухе блеснуло тонкое лезвие, — но прежде я всажу это в его глотку!

Толпа содрогнулась от ужаса. Пиппо смущенно поднял глаза. «Тощие» и «жирные» так люто ненавидели друг друга, что иногда одного слова, одного восклицания было достаточно, чтобы произошло кровопролитие.

Бетто вскочил.

— Не трогайте его, собаки! Крещенные вы люди или неверные турки? За что вы хотите убить невинного парня? А ты, Пиппо, ответишь перед моим отцом, если позволишь его зарезать!



Он так и сказал — «перед моим отцом», словно спасение распростертого на гальке бледного юноши сделало их побратимами.

Пиппо отмахнулся, устыдившись минутной слабости.

— Убирайся, Корбуло. Если тебе хочется поглядеть на кровь, пойди в лавку к мяснику Чекко. Люди, помогите мне! Отнесем его в дом Сера Лапо!

Все двинулись за двумя мужчинами, которые несли Якопо на руках. Небольшой кортеж, пройдя по переулкам Святого Панкратио, остановился перед домом Виллани.

На громкий стук железного кольца в узком окне первого этажа появилось лицо старого слуги, затем исчезло, и тотчас же открылась маленькая дверь в воротах. Из нее вышла бледная женщина в сопровождении нескольких слуг, которые бросились к Якопо, отобрали его у тех, кто его нес, быстро унесли внутрь. И прежде чем толпа успела надавить на дверь, изнутри задвинули засов.

— Святое Евангелие! — воскликнул Пиппо. — Ничего себе, хорошо принимают здесь тех, кто спас их сына! По-моему, ты поступил как осел, Бетто. Лучше бы уж я послушался того, другого, и одним кровопийцем стало бы меньше. Пойдем, пойдем, я провожу тебя домой. Думаю, не ошибусь: в твоём дворце скорей найдешь стакан вина!

Шерстяник не ошибся: Бальдо распечатал одну из бутылок урожая 1368 года — доброго года для вина и работы. Эти бутылки Монна Чиа хранила как святыню. Пиппо после третьего стакана почувствовал прилив нежности и начал расхваливать смелость и доброту Бетто. Тот, засмущавшись, ушел в маленькую комнатку, где он спал вместе с отцом и старухой. Бетто прилег на кровать.

«Однако, — подумал он, прежде чем погрузиться в глубокий сон, — могли бы они хоть поблагодарить меня».

Он проснулся к ужину. Креда приготовила жидкую похлебку из хлебного мякиша, потому что в доме осталось не больше флорина, а когда начнется работа, никто не знал. В маленькой полутемной кухне все сидели вокруг грубого стола, вырезанного из ствола каштана. Лампа, в которую в хорошие времена наливали оливковое масло, теперь чадила, потому что в ней был животный жир. Ночной дозор, гремя пиками и переругиваясь, уже прошел. Монна Чиа испытующе поглядывала на Бетто и все спрашивала, хорошо ли он себя чувствует. Когда она повторяла вопрос уже в четвертый раз, Бальдо внезапно поднял руки и произнес:

— Кто-то идет!

— В такой поздний час? — озабоченно спросила Креда.

Но сомнений не было: снаружи доносились шаги, кто-то приближался к их дому. Потом послышался настойчивый, но вежливый голос:

— Открой, Бальдо, это я!

— Вы! — воскликнул опешивший красильщик. Он поторопился

открыть дверь, отстранив старуху, которая пыталась его задержать, боясь какого-нибудь подвоха.— Неужели я не узнал бы голос Сера Лапо, у которого работаю вот уже тридцать лет!

Старый Виллани — а это действительно был он — своим появлением оправдывал славу человека смелого: он прошел без оружия по улицам, где ему и днем-то было рискованно появляться, пришел в сопровождении одного старого слуги — того самого, который выглянул в окно.

— Если позволишь войти, я скажу тебе пару слов!

— Входите, хотя я никак не ожидал...

— Увидеть меня здесь? И ты думаешь, что жизнь моего сына значит для меня так мало, что я не приду поблагодарить за ее спасение? Якопо рассказал все. И не только он.

— Тогда, значит, вы знаете, что благодарить надо не меня, а этого паренька, — подхватил красильщик, выталкивая вперед Бетто.

Мальчик остановился перед стариком и опустил голову в знак уважения к его сединам. Сер Лапо взял Бетто за подбородок и почти ласково посмотрел ему в глаза.

— Я знаю, ты спас его дважды. И за второй твой поступок я признателен тебе еще больше, чем за первый. Но отчего ты бледен, мальчик? От страха? Или от того, что ешь одну хлебную похлебку? Тебе не мешало бы съесть сейчас хороший кусок говядины, не так ли? — Он жестом остановил Бальдо, который собирался что-то ответить: — Знаю, что ты хочешь сказать, побереги слова, я затем сюда и пришел. Ко мне вечером приходили консулы и все главные мастера, которых я вызвал. Завтра ты и ваши выборные придете в Палаццо Калимала, раз уж вы в ярости разрушили Паладжо. Пересмотрим цеховой устав, трудовые регламенты, платежные тарифы. Но чудес не ждите, передай это всем, потому что сейчас не те времена!

Бальдо, молчавший все время, больше не мог сдержаться: у него чесался язык. Ему как флорентийцу не терпелось сказать последнее слово, тем более что капитуляция хозяев увеличила его смелость.

— Напрасно вы не верите в чудеса, мастер! Разве не чудо, что вода из Арно смягчила ваше сердце! При всем моем уважении к вам я считал его более черствым, чем наш хлеб, который вам так не понравился.

У Монны Чиа перехватило дыхание: о, святые, разве не прав был священник, который говорил на проповеди, что близится конец света? Чтобы простой чомпи мог вот так разговаривать с самим консулом!

Но Сер Лапо был флорентийцем не меньше, чем Бальдо, и если ему нравилось высмеивать других, то он и сам ценил хорошую шутку. Среди старых стен раздался его смех, смешиваясь со смехом чомпи, которые наконец-то победили и радовались своей победе.



ВОССТАНИЕ В НЕАПОЛЕ

В июле 1647 года в Неаполитанском королевстве восстала беднота. Крестьяне, ремесленники, рыбаки не могли больше терпеть тяжелую нужду и лишения. Восстание получило название восстания Мазаниелло, по имени его предводителя. Еще в 1606 году тосканский посол писал испанскому королю из Неаполя, бывшего в подчинении у Испании: «Здесь нет ни хлеба, ни вина, есть только новые налоги, и дай бог, чтобы этот народ не восстал».

Поводом к восстанию послужило повышение налога на фрукты.

Народ под предводительством простого рыбака Томмазо Аньелло (Мазаниелло) принялся громить будки сборщиков налогов, дома чиновников и богачей, освобождать из тюрем заключенных. Большое участие приняли в восстании и городские «лаццари» — бедняки, безработные, детвора, занимающаяся случайными заработками. Восставшие требовали отмены грабительских налогов и отстранения от власти «плохих» правителей.

Несмотря на отчетливо выраженный классовый характер этого движения, восстанию Мазаниелло были свойственны и определенные противоречия. Многие из его участников, и прежде всего сам Мазаниелло, твердо верили в «доброе» короля. «Честь, борьба за народное дело, преданность испанской короне» — таков был девиз восставших. К народным низам в ходе восстания примкнула буржуазия, стремившаяся к расширению своих политических прав. Вице-королю пришлось удовлетворить требования восставших.

Наивная вера в «доброе» монарха толкнула Мазаниелло на ряд ошибок. Он принимает дорогие подарки от вице-короля, подобострастно ведет себя во время торжественных церемоний с его участием. Современный историк А. Гирелли так описывает одну из происходивших тогда сцен: «По окончании торжественного молебна в кафедральном соборе, когда вице-король двинулся к выходу, Мазаниелло бросился расчищать ему путь. Расталкивая народ, он кричал: «Да здравствует Испания!» По выходе из собора он обратился к толпе с призывом: «Прошу вас, ничего не делайте для меня. Вот ваш господин: будьте верны королю!»

Такое поведение вожака восставших, а также его болезнь — он страдал эпилепсией — привели, в конце концов, к гибели Мазаниелло. Поверив в «дружелюбие» вице-короля, он попал в ловушку и погиб от рук заговорщиков.

Но со смертью Мазаниелло борьба не кончилась. Неаполитанцы восстали вторично. Но руководство восстанием перешло в руки буржуазии, не считавшейся с интересами масс. И это восстание было потоплено в крови. Но оно оставило глубокий след в памяти народа.

* * *

В ночь на 7 июля 1647 года рыбная ловля с лампой, слава богу и святому Дженнаро — покровителю бедняков, была удачной. Хозяин лодки Кола, обычно жадный и злой, как ядовитый паук, пришел в хорошее настроение и торжественно прибавил горсть мелкой рыбы к доле Антонелло.

От непосильной работы у мальчика ныла поясница. Превозмогая боль, он в знак благодарности вежливо приподнял берет. Потом

закрепил крышку на корзине, где лежала серебристая рыба. Ее добыли этой тяжелой ночью, когда его мускулы соревновались с железными мускулами старших товарищей.

Антонелло был самым молодым среди рыбаков, ему недавно исполнилось пятнадцать лет. Но с тех пор как в море погиб его отец, у него на руках оказалась такая же семья, как у Дженнаро Аннезе или Пеппино о'Нолано. Здесь, на лодке, выбора не было: или выполнять работу взрослого мужчины, или иди проси милостыню на церковной паперти.

Когда Антонелло прыгнул на землю, уже светало. К молу Кармине начали приставать лодки из Поццуоли, груженные фруктами и овощами.

Антонелло прикинул, что лучше: отнести рыбу на рынок, где в общей суматохе можно продать ее, не заплатив за место, или пойти домой и попозже попытаться счастья возле какой-нибудь роскошной таверны на улице Толедо?

Он посмотрел на Дженнариелло: полузакрытый глаз, шрам на щеке — таков был итог драки с бандой «аббатов в коротких сутанах», прятавших под монашеской рясой оружие. Монахи напали на него на улице Толедо, отобрали у него и рыбу, и корзину. Уж лучше пойти на рынок, несмотря на усталость. Голод мучил его куда сильнее, а дома еще восемь голодных ртов...

Мальчик присоединился к жителям Поццуоли, которые шли на базар. Среди них была женщина, которая несла на голове корзину. Ее материнский взгляд скользнул по усталому лицу мальчика, по волосам, на которых блестела рыба чешуя. Она заметила, что от морской воды у него покраснели глаза. Почти непроизвольно рука крестьянки опустилась в корзину, и у себя перед носом Антонелло увидел великолепный плод инжира, еще мокрый от росы. Мальчик смущенно покачал головой, отказываясь от угощения.

— Да бери же, я сорвала его час назад, он сладкий как мед, — произнесла женщина.

Антонелло решил; инжир был необыкновенно вкусный; он облизал губы, сделал знак женщине, чтобы та наклонилась, и прошептал:

— Я тоже иду на рынок... Пойдемте со мной, я знаю одного человека, который хорошо платит за фрукты. Это повар, он всегда берет у меня рыбу, он служит у настоящих важных господ, можете поверить. И потом, у меня есть одна знакомая, которая живет в доме, окна которого выходят прямо на площадь. Она разрешает мне проходить на площадь через свой двор, а после через окно. Тогда можно не платить за место...

Женщина засмеялась:

— Да у тебя повсюду друзья, сынок. Но в моем возрасте трудно

прыгать из окон. И потом, мне сказали, что уже с неделю за фрукты берут половинную плату, вот я и принесла инжир.

Антонелло пожал плечами: в общем-то, трудные пути лучше проходить одному.

Через полчаса он получил за рыбу целых три риала, которые для безопасности засунул за пояс обтрепанных штанов. Опустив руки в карманы и задрав голову вверх, Антонелло весело насвистывал, пинал мешки и корзины, которыми была заставлена площадь. Вдруг он услышал пронзительный крик.

— Святая Лючия! Да это же женщина с инжиром! — воскликнул мальчик и бросился бежать туда, где толпа с каждой минутой становилась все гуще.

Отовсюду доносились крики, свист, восклицания. Люди столпились вокруг четырех стражников, один из которых крепко держал за руку женщину с инжиром и кричал ей в лицо:

— А я вам говорю, сегодня надо платить полностью, поняли? Поняли? Платить надо полностью, таков приказ герцога д'Аркоса, вице-короля!

Женщина подавленно озиралась, пытаясь спорить:

— Этого не может быть, да будет благословен святой Дженнаро, он-то знает. Клянусь, у меня только один карлино, вот он!

— Одного карлино мало! Или платите, или несите инжир обратно. Убирайтесь и вы, голодранцы, потому что это касается всех! — снова закричал стражник, подбодренный поддержкой товарищей, снявших с плеч аркебузы.

Женщина словно остолбенела. Потом пришла в себя и крикнула:

— Тогда вот что я сделаю! Ничего обратно я не понесу! А вы, люди добрые, берите инжир, угощайтесь, сделайте честь! Угощайтесь на зло тем, кто хочет уморить нас с голоду! — И, схватив корзину, она опрокинула ее на мостовую.

Остальные крестьяне последовали ее примеру. Толпа мальчишек и попрошаек бросилась собирать плоды, катившиеся во все стороны.

Стражник, задыхаясь от ярости, схватил аркебузу за рукоятку, повернул ее, чтобы удобнее было наносить удары по согнутым спинам. Антонелло заметил блеск оружия и, бросив горсть подобранных слив, мячиком откатился в сторону.

В то же мгновение обнаженный до пояса парень бросился на стражника, схватил аркебузу и с такой силой бросил ее на мостовую, что та разлетелась в щепки.

— Мазаниелло, да здравствует Мазаниелло! — закричали мальчишки.

— Да здравствует король и долой его прихвостней! — ответил юноша, сверкая черными, горящими, как два факела, глазами. — Долой налоги! Ко мне, лаццари! Разнесем их будку!



Антонелло, как замороженный, смотрел на его пылающее лицо. Он схватил за рукав стоящего сзади мальчика, который размахивал шестом.

— Кто это?

— Ты что — глухой? Это же Мазаниелло, рыбак. Мазаниелло из Амальфи по прозвищу «друг бедных». Тебе приходится голодать? Тогда он и твой друг!

— Он спас мне жизнь! — как во сне ответил Антонелло. Он нагнулся, схватил булыжник и тоже закричал, присоединяясь к сотням голосов: — Да здравствует Мазаниелло! Долой правителей!

Кричащая толпа увлекла его за собой. Ощущение неведомой свободы пьянило его, как молодое вино. Они разнесли в щепы будку сборщиков налогов, потом — около сотни административных построек в городе, закрытые двери и окна которых не устояли перед яростью толпы оборванцев. Сборщики налогов спасались бегством, как крысы с тонущего корабля, — но спаслись не все.

Зато спасся вице-король, герцог д'Аркус. Сначала его испанское благородие спустилось по веревочной лестнице из окна своего дворца, потом его уложили на дно повозки, как мешок, и довезли до монастыря святого Франциска да Паоло.

Антонелло был в толпе, которая преследовала повозку, забрасывая ее тухлыми яйцами и отбросами. Ему удалось подхватить одну из золотых монет, которые его превосходительство, обезумев от ужаса, бросал из повозки в толпу. Потом Антонелло поискал глазами берет и порванную рубашку, за которой все время следовал, как за знаменем, но ничего не увидел: Мазаниелло исчез. Мальчик ходил с шумной толпой оборванцев до тех пор, пока не оказался рядом со своей хибарой. Так поступает прибой с раковинами: сначала уносит их в море, потом, перевернув, снова выносит на песок!

Он вошел в свою хижину, и восемь испуганных бледных лиц обратились к нему. Рыдания матери, ее судорожные объятия напомнили ему, что прошел целый день. И тогда в кровавом свете заката, наполнившем хижину, он вытащил сверкавшую золотую монету — вещественный знак трусости вице-короля — и крикнул:

— Мама, с голодом покончено! У нас новый вице-король — Мазаниелло, рыбак!

Грубый голос Дона Коль, полный нескончаемого презрения, ответил ему с порога:

— Вице-король оборванцев!

Девять длинных суток, последовавших за этим необыкновенным днем, Антонелло не выходил ловить рыбу. Он неотступно следовал за «своим» вице-королем, ловил каждое его слово, звучавшее трубным призывом. И сто пятьдесят тысяч других лаццари поступили так же. Они ждали его у дверей Кастельнуово, где архиепископ Филомарино

и развенчанный герцог д'Аркос скрипя зубами вели с оборванцами переговоры об условиях капитуляции. Делая уступку за уступкой, жертвуя своим самолюбием и испанской гордостью, они вынуждены были удовлетворить все их требования.

Антонелло стоял вблизи «трона» на рынке, где, по мановению руки Мазаниелло, короля оборванцев, сотнями падали головы аристократов, гордых и неприступных, которые довели город до иступления. Вместе с тысячью других таких же бедняков, теперь уже вооруженных аркебузами и даже пушками, снятыми с испанского корабля, Антонелло участвовал в штурме тюрьмы. Там много лет томились отнюдь не разбойники, а бедняки, сидевшие за долги и не имевшие могущественных покровителей. Он даже сражался против настоящих солдат, но недолго, потому что несчастные испанцы, с которыми плохо обращались и которые были так же голодны, как и сами неаполитанцы, перешли на сторону восставших. Повстанцы и солдаты вместе торжественно маршировали под испанскими знаменами по улицам, где в маленьких тавернах горели свечи перед портретами Карла V и Филиппа IV.

Это было в воскресенье — пятнадцатого числа. На закате Антонелло сидел около работавшей матери и рассказывал о триумфе «своего» короля, короля лаццари.

Чад от свечи, сделанной из говяжьего жира, смешивался со сладковатым запахом крахмала. В него погружали огромные плиссированные воротники — пышную принадлежность роскошных костюмов. Маддалена ни словом не упрекнула сына, который не ходил на работу. Но свою работу она не могла прекратить ни на час. Она работала молча, как тысячи других женщин из народа, в которых долгая нищета и постоянный голод погасили всякую веру, всякую надежду на перемены к лучшему, наполнили жизнь отчаянием и смирением. С другой стороны стола сидел насупленный и молчаливый дон Кола. Лицо его почернело от вынужденного безделья, от беспокойства за лодку, покинутую на берегу, «потому что все заразились этим проклятым безумием».

Оба слушали взволнованный голос Антонелло:

— ...На нем была шитая серебром одежда и золотая цепь, которую ему подарил сам вице-король. Он и его брат Джованни были верхом на лошадях, как настоящие господа. В церкви епископата вице-король и епископ принесли ему клятву...

Дон Кола не мог этого стерпеть:

— Принесли клятву, а потом ее же нарушат! Что стоят слова! А твой Мазаниелло — доверчивая голова, я его знаю! Он позволил обмануть себя посулами: видишь, я говорю обмануть, а не купить, как говорят многие. Вице-король из-за спеси ничего не видит, а вот архиепископ Филомарино — старая лиса, я не боюсь называть его так

при всем моем уважении к служителям церкви. Золотая цепь задушит твоего Мазаниелло!

— Не говорите так! Мазаниелло дело делает, а не болтает. Ведь с тех пор, как за ценами стал следить князь делла Рока, хлеб стал доброкачественным, а вино перестали разбавлять водой. В буханке хлеба стало по сорок унций. И люди стали ходить по улицам без опаски, а «братья» и другие грабители попрятались от страха.

— Ты еще сосунок, Антонелло! Когда схлынет первая волна — а это случится скоро, поверь старику, — грабители и власть имущие полезут, как грибы после дождя. И если вы отрубили голову дону Джузеппе Карафа, разграбили его дворец и еще сотню дворцов других аристократов, то это не значит, что выкорчеваны все Карафа, Карачоло и Маддалоне. Эти люди привыкли повелевать, и они не станут терпеть бедного, потерявшего голову рыбака. Не смотри на меня так, я всегда считал тебя своим сыном и говорю это ради твоего блага: Мазаниелло потерял голову, золото и почести опьянили его и эту жалкую гусыню, его жену Бернардину. Золотое ожерелье, лодка вице-короля, драгоценности вице-королевы на пальцах Бернардины — смотрите-ка! А те головы, что покатались в последнее время по ее знаку и капризу, принадлежали не только грабителям. Мазаниелло на краю пропасти, и сбросит его свои же, вот увидишь!

Антонелло молчал: слова Колы заставили его задуматься. Такая мысль приходила и ему в голову в эти горячие дни. Все сказанное походило на разговоры, которые он уже слышал. В них было много неприязни, но была и правда, и это приводило его в растерянность.

Старик встал.

— Завтра Дженнариелло о'Нолано и кое-кто еще обещали выйти на работу. Я больше ждать не могу. Кто пойдет со мной, у того, бог даст, будет хлеб, хоть он и нелегко достается нам. А все прочее... свобода, справедливость — все это не для нас, несчастных! Если до рассвета ты не придешь, я отдам твое место сыну Каррарезе, Винченцино. Всего доброго, Маддалена!

Он вышел, а молчаливая Маддалена, посматривая на сына, тяжело вздыхала. Наконец она боязливо промолвила:

— Пекарша Пеппина сказала мне, что донна Антония, ну, знаешь, мать Мазаниелло, очень беспокоится за своего сына. Говорят, на него наслали порчу, сглазили. Временами он никого не узнает, мечется по дому, рвет на себе одежду и, кажется, слышит голоса.

— Какие голоса?

— Так она тоже не знает, бедная старушка... А ведь столько крови пролилось по вине Мазаниелло, и потом... — тут Маддалена перешла на шепот, — говорят, что в своем доме, в переулке Ротта, он держит ожерелье святой девы, украденное в монастыре бенедиктинцев, а это — большой грех, невиданное святотатство...

Антонелло вскочил:

— Это неправда! Мазаниелло не вор, он такой же бедняк, как и мы, только вот эта золотая цепь, да и то он спрашивал у народа, может ли он принять ее. А на площади многие потеряли головы, потому что сами держат дома вещи из разграбленных дворцов...

— Ну, хорошо, хорошо, не сердись, сынок.— Маддалена замолчала, потом заискивающе спросила: — Так завтра утром... я тебя разбужу?

Антонелло пожал плечами:

— Не знаю, мама. А теперь я хочу немного поспать.

Он бросился на кровать, где уже лежали вповалку его братья. Но заснуть не мог. Он думал о том, о чем не сказал матери: вчера Мазаниелло вызвал его с двумя другими такими же мальчишками, которым едва исполнилось пятнадцать лет. Он сказал, что назначает их придворными военачальниками и блюстителями порядка на улицах. Абсурдность этого предложения, его поведение — претенциозное и наивное одновременно, безумные речи короля рыбаков — все это не умещалось в голове Антонелло, порождало глубокую, невыносимую боль. Где же правда? Разумно ли все это? А скольких приверженцев Мазаниелло мучили те же сомнения! А время шло.

Когда колокол капуцинов прозвонил к заутрене, тоненькая фигурка в рубашке и закатанных по колено штанах прыгнула на борт «Паломелы» и схватила веревку, которую с одобрительным хмыканьем бросил дон Кола.

Улов был хороший, как и в прошлую неделю, — неужели прошло так мало времени? И мальчику, который складывал в корзину свою долю — на этот раз попались и крабы, настоящая роскошь, — казалось, что за эти девять дней прошла целая жизнь, а может, одно мгновение. Когда он вместе с Дженнариелло подошел к своей хижине, ему навстречу выбежал один из младших братьев:

— Антоне, Антоне! Мазаниелло-рыбаку отрубили голову!

Антонелло качнулся, словно ему в лицо бросили камень, а Дженнариелло воскликнул:

— Ты с ума сошел, Паскуалино!

— Вовсе не сошел! — обиженно воскликнул мальчик. — Мазаниелло был сумасшедший, все это говорят, вот ему и отрубили голову. Куда ее выкинули, не знаю, а тело вон там на берегу. Пойдем посмотрим, Антоне? Ну, пойдем!

И Паскуалино побегал по берегу к замковой башне, мрачно вырисовывавшейся на фоне заката. Оттуда доносился грозный гул. Густая толпа сгрудилась вокруг чего-то на земле.

— Ты что, Антонелло, плачешь? — спросил Дженнариелло. — Жалеешь этого сумасшедшего? Все равно он бы плохо кончил.

Антонелло вздрогнул, как раненый зверь, и закричал:

— Это для свободы плохо, как ты не поймешь? Они расправились с нашей свободой, обезглавили народ!

— Какой свободой, Антоне? Свободой надрываться и подыхать с голоду или от побоев — такой всегда была свобода лаццари. Побереги здоровье и иди домой, ну же!

На следующее утро, когда Антонелло побежал на рынок, чтобы обменять рыбу на хлеб, он узнал, что за те же восемь монет он получит буханку весом в двадцать восемь унций, а не в сорок, как раньше. Сжимая в руке буханку, которой наверняка не накормишь всех тех, кто ждал его дома, он печально вышел из Порто Капуано. Из убогого подвала внезапно донесся высокий женский голос, который пел:

У лаццаро на свете столько бед,
Их не избыть ему за сотню лет!
Окончен нынче карнавал,
И снова черный день настал.
И снова бога я хвалю:
Хвала ему и королю!

И долго еще на безлюдной улице его преследовал этот напевный голос: «И снова черный день настал. И снова бога я хвалю: хвала ему и королю!»



ПЛЕННИКИ ОСТРОВА СТЕКЛОДУВОВ

Действие рассказа переносит нас в Венецию XVIII века, а точнее — на остров Мурано. Это один из множества островов, на которых раскинулась Венеция. Этот итальянский город расположен в лагуне Адриатического моря. С незапамятных времен ремесленники, жившие на этом острове, занимались стеклодувным делом: изготавливали вазы, чаши, бутылки, а позднее — знаменитые венецианские зеркала и люстры. Уже с XIII века здесь складываются раннекапиталистические отношения: возникают относительно крупные мастерские с применением наемной рабочей силы.

Стеклодувное производство на острове Мурано быстро растет, все больше венецианского стекла отправляют за границу. Изделия мастеров Мурано проникают во Францию, Англию, Германию. О том, насколько их ценят иностранцы, свидетельствует хотя бы то, что после падения Константинополя турки заказывают в Мурано девятьсот светильников для украшения главной мечети города.

Слава венецианского стекла заставляла хозяев мастерских любой ценой удерживать тех мастеров, которые в поисках лучшей жизни стремились уехать в другие страны, куда их сознательно переманивали предприимчивые дельцы. Из «Устава цеха стеклодувов» в Мурано мы узнаем:

«Если кто-либо из мастеров выедет за пределы Венеции для основания собственного дела на чужбине, ему прикажут немедленно вернуться. В случае неподчинения его ближайших родственников бросят в тюрьму. Если, несмотря на это, беглец станет упорствовать, ему не миновать ножа наемного убийцы».

Такая участь постигла и героев истории, написанной Джулианой Болдрини на основе подлинных документов.

* * *

— Момоло, эй, Момоло-о-о!

Этот крик, отражаясь от поверхности канала, достиг ушей ослабевшего от голода мальчика. Он лежал на каменном настиле. Крик показался ему чуть сильнее ленивого плеска волн.

Он медленно поднял голову и увидел своего товарища, худенького Туркетто, который и в июльскую жару двигался, как всегда, быстро. Они вместе работали.

— Ты что здесь делаешь, муравьев считаешь? — спросил он, подмигивая.

Прозвище Туркетто-турок, Турчонок дали ему за черные глаза, сверкающие белые зубы и оливковый цвет кожи, хотя он и родился на острове Мурано. Его отец, деды и прадеды были стеклодувами. Они работали здесь с тех пор, как на острове начали изготавливать изделия из стекла. Отец Туркетто называл Мурано огромной фабрикой.

Момоло поднялся, сел. Его приятель примостился рядом.

— Муравьи? Если на них долго смотреть, захочется есть, а в животе и без того пусто!

— Черт побери, не говори об этом! Я съел бы сейчас целый каравай и булочку в придачу! Даже если хлеб будет из кукурузной муки, которой в детстве питался Джакомо. Помнишь, он нам об этом рассказывал?

— Джакомо приехал с большой земли, к тому же родился в

горах,— ответил Момоло, и в голосе его прозвучало презрение.— Ты ведь кукурузный хлеб никогда не ел.

— Конечно, нет, но если эти трубы не задымят, кто знает, что нам придется есть через несколько дней. — И Туркетто кивнул в сторону улицы Верьеры, где мастерские тесно жались одна к другой.

Вид погасших печей казался мальчикам невероятным. Они не помнили, чтобы в небе не было дыма — то черного, то голубоватого. Дым плотной пеленой обволакивал остров Мурано. Но вот уже почти три недели в мастерских не работал ни один горн: стеклодувы, зеркальщики и те, кто делал стеклянные бусы,— словом, рабочие всех специальностей один за другим побросали работу. Даже женщины, терпеливо низавшие бесконечные бусы, не сидели больше у порога своих домов.

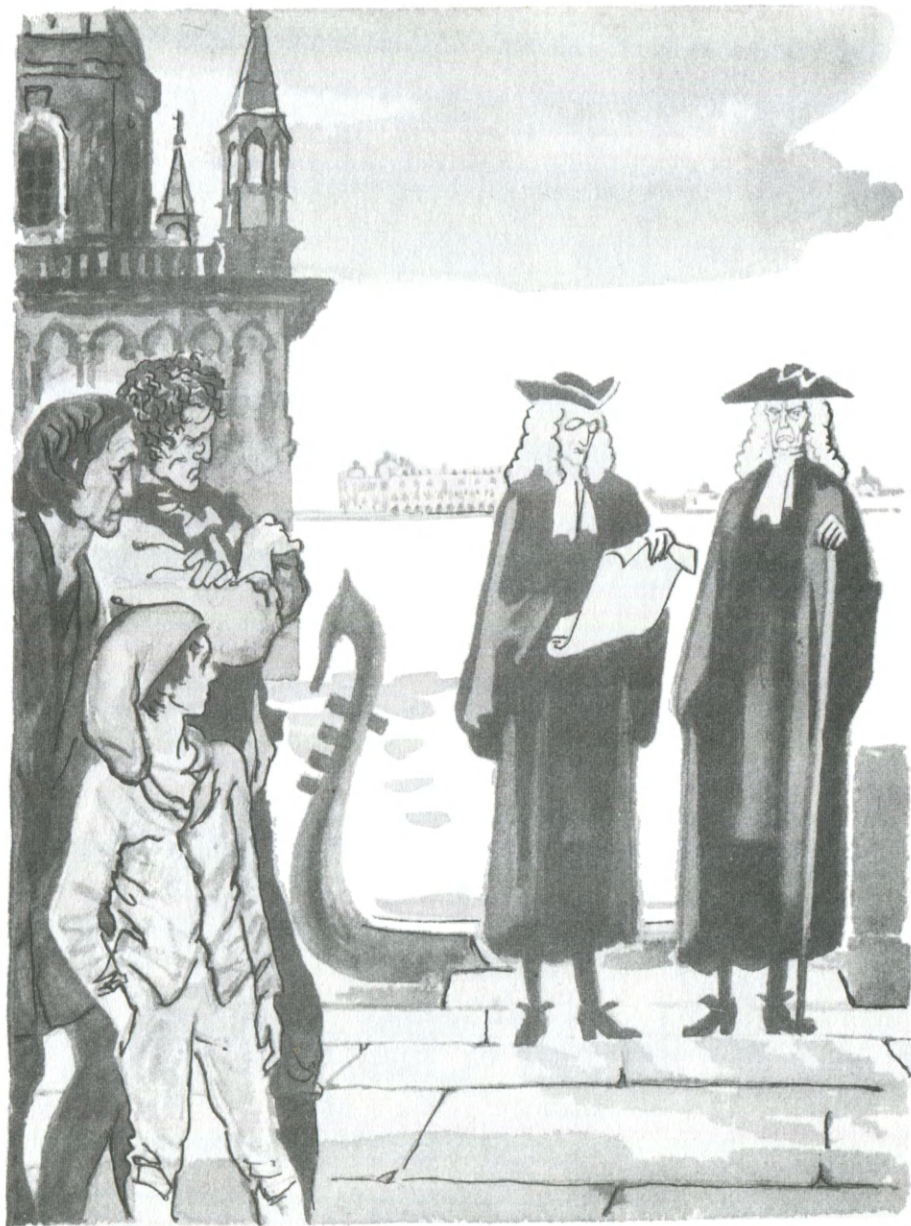
— Скажи,— снова заговорил Момоло,— ты веришь, что цеховые магистраты примут наши требования?

Вопрос этот задавали друг другу все стеклодувы, он не сходил с уст, его обсуждали в пустынной тишине маленьких площадей и каналов, в мастерских, где уже не гудел в печах плененный огонь. И вот уже много дней ответ оставался все тем же.

— Конечно! — со злостью проговорил Туркетто, словно желая убедить самого себя.— А то чего бы им вызывать в Венецию главных мастеров острова? Мы нужны Венеции. Чего особенного мы требуем? Империю Великого хана? Повысить заработок, потому что так жить невозможно. Пора бы понять, что рабочие голодают, и поднять плату. Владельцы мастерских с этим согласны. Они тоже знают, что с пустым желудком перед печью не настоишься. Пусть правительство платит чуть больше ста монет за бутылку или разрешит продавать их иностранцам, а то...

Туркетто не закончил свою обвинительную речь: внезапно с колокольни Святого Мученика ударили в колокола, собирая народ. Мальчики вскочили и побежали. Их голые пятки уверенно шлепали по камням. Они бежали молча. А из переулков, по мосткам, переброшенным через каналы, шли люди, мужчины и женщины, встревоженные колокольным звоном. Толпа направлялась к северному молу, с которого открывался вид на город, на гордую Венецию, отделенную лагуной от своей прокопченной рабыни.

Момоло скоро отстал от своего друга, более подвижного, чем он, но, прибежав на мол, не стал его искать. Его заворожил вид медленно приближающейся гондолы. Несмотря на жару, резная дверца из позолоченного дерева, ведущая в каюту, была задернута красным бархатом. Предчувствие несчастья охватило толпу. Громкие возгласы стихли один за другим. Слышны были только удары весел о воду. Вскоре на землю перебросили деревянный мосток, но полог над дверцей не шелохнулся. Напряжение стало невыносимым. Наконец,



полог откинулся. Из каюты вышли двое: впереди шел высокий старик в черной одежде и темном головном уборе. Он окинул толпу взглядом выцветших глаз. Мастер, под началом которого работал Момоло, тихо вскрикнул. Мальчик вопросительно посмотрел на него. Тот в ответ поднял глаза и указательный палец к небу. Любому венецианцу был понятен этот знак. Люди, словно у них не поворачивался язык произнести это, прибегали к такому знаку, когда имели в виду всемогущий, невидимый и таинственный Совет Десяти. Его рука разила беспощадно, хотя порой жертва не ведала, откуда исходит удар.

Старик в черном сделал величественный жест, указав на человека, шедшего за ним следом. Это был посланец Совета. Он вынул пергамент, трясущимися руками развернул его. Никогда еще ничей голос не звучал в такой тишине:

— Мы, высший Совет Блаженнейшей Республики, в такой-то день июля месяца...

«Не таяни!» — внутренне просил нетерпеливый Момоло.

Голос посланца произнес приличествующие случаю монотонные фразы, потом стал еще более низким:

— Сегодня на рассвете, на площади Святого Марка, в избранном Советом для казней месте, то есть между двумя колоннами на самой площади, при соблюдении всех религиозных обрядов, в назидание восставшим... всем рабочим и мастерам означенного острова Мурано... были повешены Паоло Барнабино, по прозвищу «Паолон», и Джакомо ди Пьетро Кальцан, оба мастера...

Пронзительный женский крик прорезал тишину. Толпа заволновалась, распалась, окружая потерявшую сознание женщину.

Услышав второе имя, Момоло невольно вздрогнул. У него, как от озноба, застучали зубы. Пьетро Кальцан был отцом Туркетто. Старик из Совета нахмурил брови, словно досадовал на происходящее, и сделал знак продолжать. Посланец повысил голос. Люди с перекошенными лицами и сжатыми кулаками уже не скрывали своего возмущения. Они услышали:

— Святейший Совет предупреждает: если печи в мастерских Мурано к ночи не заработают и рабочие не заступят на свою обычную смену, терпение Совета иссякнет и для наведения порядка на острове будут приняты крайние меры: всем лодкам, гондолам и плоскодонкам запретят приставать к молам данного острова. То же относится и к парому из Бренцы, снабжающему питьевой водой население острова. Это все,— заключил посланец уже от себя.

В послании не было ни слова о требованиях стеклодувов, не говорилось в нем и о судьбе двух других мастеров, которых заманили в ловушку. Но перед глазами у всех стояли образы двух повешенных на площади, на головы которым, как предателям родины, надели мешки. Стеклодувы молчали, словно пораженные молнией. Посланец

Совета опустил голову и трясущимися руками свернул пергамент. Гондола с ужасным стариком на борту удалилась так же тихо, как и прибыла.

Отчаяние, ругательства и крики посыпались, когда лодка находилась уже так далеко, что казалась огромным мерзким насекомым, перебирающим по воде длинными лапами. Момоло не хотелось оставаться на берегу, не хотелось слушать, как мужчины и женщины возмущенно выкрикивали слова «хлеб», «дети», «смерть», «бедные и богатые». Это были крики ярости, за которыми неизбежно следовало смирение. Некоторые уже направились на работу. По дороге домой Момоло заглянул в свою мастерскую: мастер Цуане с двумя рабочими вырывал гвозди, которыми вот уже две недели была забита дверь, и со злобой, обращенной, конечно, не к нему, закричал:

— Куда бежишь, будь ты проклят? Ты что, не слышал или хочешь, чтобы со мной обошлись так же, как с теми на площади?

— Я мигом вернусь, мастер Цуане, только сбегая за Туркетто.

— Беги и скажи ему, пусть выходит на работу завтра, бедняга! Я же не собака, — пробормотал мастер.

Момоло сначала зашел домой, где он жил вместе с матерью, братьями и старым, почти слепым, дядюшкой — стеклодувом, получившим от цеха пенсию. Дома никого не было. Все, конечно, находились на молу, хотя он там их не видел.

Мальчик бегом пробежал по мостику, двум улочкам, еще одному мосту и оказался перед домом Туркетто. Но внутрь войти не решился.

В кухне полно было женщин и детей. Сострадательные обитатели узких улочек и маленьких площадей пришли утешить несчастных. Он заглянул в дверь, и Туркетто сразу заметил друга. Он погладил по плечу плачущую мать, что-то пробормотал и вышел.

Момоло бросился к товарищу, обнял его, но тот отстранился. Глаза Туркетто были сухи, губы решительно сжаты. Он отвернул друга в сторону, за изгородь маленького пустынного огорода. И сразу же начал:

— Послушай, Момоло, у меня к тебе есть дело. Через недельку-другую я уеду.

Момоло вытаращил глаза, потом сообразил:

— Ты едешь с немцем? В Австр...

— Молчи! — Рука Туркетто закрыла ему рот. — Верно, но говори тише. Хочешь отправиться со мной?

— Но ведь немцу для его дела в Австрии нужны мастера или подмастерья, а я — мальчик на побегушках.

— Ты знаешь, мне скоро держать экзамен. Немец уже подглядел, как я работаю, и согласен взять меня мастером. Ты бы мог мне помогать, тебе уже пятнадцать. К тому же он поручил мне погово-

рить с тобой... А я здесь больше не останусь,— заключил он и заплакал.

Момоло принялся размышлять вслух:

— Уехать... покинуть дом... оставить родину... Конечно, можно посылать деньги домой, много денег. Помочь маме... только бы она ничего не знала, иначе она ни за что не отпустит меня. И сразу стать подмастерьем...

— Послушай,— прервал его друг,— у тебя еще есть несколько дней, чтобы подумать. Мы будем видеться, ведь работать придется как обычно. О нашем разговоре никому ни слова. Сам знаешь — тем, кто оставляет Мурано и уезжает работать, уготована смерть.

Момоло кивнул: он прекрасно знал, что его друг говорит правду. Франция, Австрия, Германия всегда старались найти опытных стеклодувов, способных перенести свое удивительное искусство в другую страну. Но за много веков удавшихся попыток было очень мало: у Венеции были длинные руки и тысячи глаз повсюду.

Решив никому не выдавать свою тайну, Момоло вернулся на работу. В эти дни он почти не чувствовал привычной усталости, будто и глаза не резало, и поясницу не ломило, и грудь не жгло от горячего сухого воздуха. Он старался присмотреться ко всему, хотел постичь тайны своей профессии.

Мастер Цуане был отличным стеклодувом, и его смеси соды, земли из Пулы и Лиссы, которые он делал на глазок, всегда были безупречны. Момоло помогал делать «массу» для первой печи, затем частями переносил ее во вторую, где масса должна была остыть, чтобы с ней можно было работать. Потом приходилось уступать место Туркетто, подмастерью. Тот, стоя перед огненным лотком, под защитой прозрачной пластины, подхватывал трубкой комок расплавленной массы, мял его, вращал на бронзовом столе и выдувал первый, еще бесформенный пузырь, затем снова отправлял его в печь.

И так два, три, пять раз. Момоло затаив дыхание следил за его работой, хотя знал, что не правила, а собственное чутье, своего рода шестое чувство может подсказать стеклодуву, в какое мгновение надо начать обработку.

Однажды вечером мальчик не удержался. Когда мастер Цуане наносил последние штрихи на украшенную цветами ручку вазы, помогая себе маленьким пинцетом, он вдруг закричал: «Да подождите же, я не все рассмотрел!» — от чего все в мастерской громко рассмеялись.

Это было вечером в пятницу, а в субботу никто не работал. При выходе из мастерской Туркетто отвел его в сторону.

— В воскресенье я не выйду на работу.

— Обо всем договорился?

— Завтра ночью, за церковью Святого Донато. Хочешь ехать,

приходи в час после полуночи. Немец пошлет туда лодку. А до тех пор нам лучше не встречаться. Всего доброго, Момоло!

За ночь и за следующий день Момоло передумал столько, сколько не думал никогда в своей жизни. В ушах у него снова звучали вкрадчивые слова немца: «Никакой опасности. Уверю вас... Вам будут платить золотом»... Перед ним вновь возникала фигура, лицо этого человека, который казался ему то честным и открытым, то коварным и злым... А посоветоваться и поговорить было не с кем. Но еще сам того не сознавая, Момоло уже принял решение. Скучная пища, согнутые плечи стареющей матери, дряхлый дядюшка... Вид этих несчастных, изнуренных тяжелейшей работой, никогда не евших досыта, а главное, ужасные воспоминания о недавней расправе с мастерами уже убедили его.

В ночь с субботы на воскресенье он не спал. Мальчик прислушивался к спокойному дыханию спящих братьев, смотрел, прикрыв рукой слабый свет лампы, на лицо матери. «Прощайте,— шептал он,— прощайте!» В час ночи он вышел из дома.

Стояла темная, беззвездная июльская ночь. «Это хорошо,— подумал он,— чем меньше света, тем меньше соглядатаев». Момоло ступал быстро и тихо, держался в тени домов. Он бесшумно переходил мостки, переброшенные через каналы, приветствовавшие его шумом темной воды. Вот и площадь, вот черная тень базилики... Здесь, должно быть здесь. Но вокруг никого не было: ни друга, ни немца.

Он вполголоса позвал: «Туркетто!» От удара короткой железной палки он не издал даже слабого звука, только упал на колени, упал так тихо, как падает парус при стихшем ветре. На дне лодки, куда его бросили, уже лежало распростертое тело Туркетто, и рука Момоло бессильно опустилась на грудь друга. Их ждала общая судьба — один из девятнадцати колодцев Республики Святого Марка. И вызволить их оттуда не смогла бы ни самоотверженная материнская любовь, ни любая другая сила.



ЭСКУДО, ПОДАРЕННЫЙ ТЕРЕЗИНЕ

История Терезины, наемной работницы туринской швейной мастерской, относится к концу 1900 года. В большинстве стран Европы к этому времени уже утвердились капиталистические отношения. В Италии господство капитализма привело к резкому росту эксплуатации трудящихся. Никаких законов об охране труда в стране до 1886 года не существовало. Продолжительность рабочего дня достигала 12—16 часов. На предприятиях работало много женщин и детей. Женщинам хозяева предприятий платили в два раза, а детям — в три раза меньше, чем мужчинам.

Не удивительно, что дети без конца болели, многие из них умирали.

Терезина проснулась от холода. У нее окоченели ноги. Двое ее младших братьев во сне стянули с нее одеяло и теперь спали, укрывшись с головой. Они тяжело дышали — сказывалась простуда. Нечего было пытаться получить обратно свою порцию тепла. К тому же легкий свет, проникавший из кухни, говорил о том, что мать уже принялась за работу. А вот и колокол пробил пять раз. Терезина едва ли успеет помочь ей до ухода в швейную мастерскую.

Девочка принялась одеваться ощупью, в темноте. В свои тринадцать лет Терезина была такой худой, что почти не занимала места на кровати, где спала вместе с братьями. Она натянула юбку и кофту. Башмаки обувать она не стала... Красивые башмаки с рядом блестящих пуговиц надо беречь. У них и так износилась подошва, а если она протрется — им конец.

Терезина с большим удовольствием носила бы грубые башмаки. Но хозяйка мастерской говорила работницам: «Красота в ателье прежде всего, я не намерена держать оборванок, зарубите это себе на носу!» Так говорила мадам Жозефина, парижанка из-под Болоньи, с берегов Рено. И Терезина обувала башмачки с пуговицами, надевала шляпку в форме кастрюли, украшенную искусственными цветами, — напоминание о маминой свадьбе в 1881 году.

Девочка проскользнула в кухню. На нее дохнуло паром, в носу защипало от едкого запаха содового раствора: это кипел котел, в больших тазах вымачивалось белье. Котел и тазы загромождали всю кухню. Мать подняла глаза, не вынимая рук из воды.

— Наконец-то выползла из постели! — холодно сказала она.

Терезина не обиделась, мать совсем не злая, просто она устала. Однажды она призналась, что порой ей кажется, будто ее дети, все трое, взобрались ей на спину и разевают рты, требуя хлеба. А Терезина помнила ее румяной, веселой, ласковой. Так было еще несколько лет тому назад, когда был жив отец. С ним случилось то же, что происходит со всеми, кто работает на погрузке вина: они спиваются, чтобы забыть о боли в натруженных плечах. А когда зеленый змий берется за дело, то дома не обходится без побоев, в трактире — без скандалов, а там, глядишь, и кровь у спившихся превращается в хмельное сусло. Им начинают мерещиться отвратительные чудовища.

Отца отвезли в больницу. Он протянул еще два месяца. Однажды утром, когда мать пошла его проведать, санитар вынес ей сверток с рваной одеждой и пару старых башмаков.

— Этих покойников, — сказал он, — сначала забирают доктора, потом тело сваливают в яму. Там тряпки им уже ни к чему.

Мать ничего не ответила, лишь опустила голову, но с того дня

стала раздраженной и сварливой. Терезина понимала мать и научилась не обращать внимания на ее придирки.

Они молча трудились на кухне. Девочка вылила содовый раствор в таз и помогла вытащить белье, готовое для полоскания. В большой корзине они вынесли его во двор. Вода в фонтанчике покрылась тонким слоем льда. В квартале жило много прачек, но бедная вдова с тремя детьми вставала раньше всех, и ей первой приходилось разбивать лед и черпать ледяную воду. Но еще труднее было развешивать выстиранное белье. Резкий февральский ветер бил в лицо и сыпал сухим, как иголки, снегом. К тому же мокрые простыни не давались в руки. Чтобы выжать их, приходилось браться за простыни с двух концов. От этой тяжелой работы Терезина багровела до корней волос.

Они бегом кинулись домой. Но как только они вошли в кухню, домашнее тепло вызвало у обеих приступ кашля. Мать кашляла, согнувшись вдвое. На скулах у нее выступили красные пятна. Терезина, сотрясаемая более редкими приступами, внезапно почувствовала резкую боль под ключицей, словно ее ударили ножом. У девочки перехватило дыхание. Мать сразу же перестала кашлять и с тревогой посмотрела на Терезину.

— Ты давно так кашляешь, дочка? — спросила она строго, но в ее голосе сквозил страх.

— Это впервые, мама, — солгала Терезина. — Сейчас все кашляют, ведь стоят такие холода.

Женщина покачала головой, вытерла кончиком шали рот и медленно влила в кастрюльку с кипящей водой какую-то черную массу. Каждый день она ходила в соседнее кафе, хозяин которого был добрый человек и отдавал ей кофейную гущу. А это было настоящее богатство в их бедном доме. Обе они выпили воды, которая пахла настоящим кофе, и согрелись. Терезина почти развеселилась. Она обула башмачки, накинула на плечи теплую шаль.

— Сегодня вечером я приду поздно, слышишь, мама, сегодня суббота. Но ты не беспокойся: до самого моста горят фонари, а потом я побегу бегом. И сегодня, вот увидишь, я принесу хорошие чаевые.

Опухшими, изуродованными содой пальцами мать поправила цветок на ее шляпке.

— Чао, — попрощалась Терезина с матерью и зашагала, согретая редкой материнской улыбкой. Уже светало. Она шла быстро, потому что ей было холодно. Да и квартал, где они жили, ей не нравился. Он был грязен и беден. Фасады домов покосились, подворотни выглядели мрачно и неприветливо, в скудных лавчонках всегда было темно, лампочки над входом едва освещали их.

И швейная мастерская — в присутствии мадам ее называли ателье — тоже, конечно, помещалась в неприветливом доме: приходи-

лось карабкаться вверх по скользким потемневшим ступеням. Богатые клиентки, поднимаясь по лестнице, закрывали носы тончайшими платками и поднимали края юбок, чтобы не испачкаться.

И все же мастерская находилась сразу за площадью Карлино, в самом центре богатого Турина, где в часы прогулок так много хорошо одетых синьоров и офицеров, элегантных священников в сутанах из тончайшего сукна и в шелковых шляпах, красивых и важных карабинеров, гарцевавших на прекрасных конях.

Когда Терезина дошла до площади, фонарщик уже закрывал, стоя на стремянке, дверцу последнего погашенного фонаря. Редкие прохожие скользили, как тени, вдоль утренних улиц. Аппетитный запах свежего хлеба, только что вытасченного из печи, и хрустящих булочек возвестил о приближении тележки булочника. Почувствовав голод, Терезина сунула руку в карман: пять чентезимо составляли все ее богатство. Потратить их сейчас? Чаевые ей дадут только во второй половине дня. Но запах был слишком соблазнительным. Она окликнула булочника, тележка остановилась: Терезина увидела, что тележку толкал мальчик, на первый взгляд моложе ее, но очень бойкий. Он подмигнул, когда брал пять чентезимо:

— Первый клиент сегодня утром, и какой клиент! Синьорина в шляпке: держу пари, не иначе как модистка...

Терезина взяла булочку и ничего не ответила. Она была робкой и никогда не разговаривала на улице с незнакомыми. Среди девочек, работавших в швейных мастерских, она была исключением. Мальчик свистнул.

— Нос задираешь, мадамочка! Картонка, которую ты носишь, может, и легче моей тележки, но карманы у нас обоих набиты не больно туго! Чао!

Терезина быстро прошла лестницу. Полбулочки она съела пополам с угольной пылью: ее первой обязанностью было разжечь две огромные печки, одну в мастерской, другую в салоне, где хозяйка принимала особо важных клиентов. Войдя в комнату, она недовольно воскликнула: металлический ящик оказался пуст. Нужно было спуститься в подвал, наполнить ящик углем и подняться вверх по проклятым ступенькам. И побыстрее, потому что уже почти семь.

Поднимаясь по лестнице с ящиком, который оттягивал ей руки и заставлял сгибаться в три погибели, она столкнулась с девушками. Они спешили в мастерскую. Терезина вновь закашлялась, и Мэрля, смуглая южанка, острая на язык, блестя своими черными глазами, недовольно поморщилась:

— Совсем как в больнице! Своим кашлем ты наводишь на нас тоску.

Терезина почувствовала, что слезы навертываются ей на глаза. Она раскашлялась еще больше. Другие девушки подбодрили ее.

— Не обращай внимания, мышонок,— сказала ей ласково Джанна.

— Синьорина сегодня расстроена, — произнесла другая, — артиллерия ее бросила и театра вечером ей не видать!

Девушки дружно рассмеялись, они привыкли подшучивать друг над другом. Мэря, резко повернувшись, вызывающе посмотрела на остальных. Но на лестнице уже раздался строгий голос:

— Хватит! Вам бы только ссориться, а до вечера надо кончить восемь платьев. Нечего болтать на лестнице!

Девушки разлетелись по своим местам, как сухие листья от дуновения ветра. В мастерской закипела лихорадочная работа. Терезина не успевала выполнять задания, валившиеся на нее градом. Ей поручали то подрубать швы, то обметывать петли. Все шили, склонив головы, с лихорадочной поспешностью. В мастерской лишь слышался голос хозяйки, распекавшей то одну, то другую работницу.

Естественно, больше всего попадало самой младшей.

— Терезина, пошевеливайся, помоги Пине! Не видишь, нужно выгладить кучу вещей! Уж нижнее-то белье ты можешь погладить! Быстрее, быстрее, быстрее!

Девочка бросилась к печи, наполнила углем два утюга, отнесла их гладильнице, которая вся взмокла, отпаривая сложный испанский костюм. Какой тяжелый утюг! Казалось, он оторвет ей руки. На миг она выпрямилась и вдруг заметила, что утюг опять остыл. Надо заново наполнять его углем. Часы тянулись медленно, а темп работы становился все быстрее. Мадам кричала все яростней. В полдень, не отходя от рабочих столов, вытягивая шеи, чтобы не накапать на материю, девушки наспех проглотили свои завтраки. Терезине не разрешили спуститься вниз, чтобы позавтракать в кредит. Обычно она брала в маленькой лавочке на первом этаже на одно сольдо поленты и полсосиски. А расплачивалась в конце недели, когда получала свои три лиры и восемьдесят чентезимо. Она доела свою булку. Есть и не хотелось из-за жара, которым дышала печь, и дурманящего запаха крахмала. Боже мой, здесь было невыносимо! У девочки кружилась голова, она боялась упасть.

Но когда ей показалось, что она больше не выдержит, раздался торжествующий возглас девушек: первое платье было готово. Оно сверкало шелком и струилось бархатом. Мадам с осторожностью уложила его в коробку и вручила ее Терезине, словно доверяла ей любимое дитя. Терезина почти выбежала на улицу: она едва дождалась этого момента. Теперь можно было распрямить натруженную спину.

Сначала она наслаждалась ледяным ветром, обжигавшим ей горло, и даже не заметила, как длинна дорога. Девочка легко, как бабочка, взлетела по лестницам и вернулась довольная, с тремя сольдо чаевых в кармане. Но когда пришлось относить второе, третье, четвертое платья, ноги ее налились свинцом. К вечеру холод усилился и после

жаркого воздуха мастерской нещадно щипал лицо, руки, сотнями иголок пронизывал ее щуплое тельце, несмотря на поношенную накидку.

Лестницы, казалось, никогда не кончатся. Она поднималась по ступенькам черного хода, попадала в теплые помещения для прислуги, улыбалась горничным, с достоинством королев выносившим ей чаевые, и снова попадала на холодные улицы. Огромная коробка оттягивала ей руки, она с трудом передвигала ноги. Сквозь тонкие подошвы пробивался холод булыжной мостовой.

Взглянув на последний адрес, она содрогнулась от ужаса. Платье предстояло нести на улицу Маддалены, в верхнюю часть города.

А на улицах шел карнавал. Вечер наступил раньше обычного, и уже зажгли фонари. Терезина, дрожа от холода, быстро шла по городу. Время от времени маски что-то кричали ей в ухо, она вздрагивала от неожиданности. Какой-то полицейский крикнул, чтобы она шла осторожнее, не лезла на середину улицы. Из-за шума она не расслышала звука рожка и чуть не угодила под конку.

Ей вдруг захотелось подъехать на конке, но она тут же передумала: через два дня надо платить за квартиру, и мать очень рассчитывает на сегодняшние чаевые. Она пошла дальше, утешая себя тем, что это последний адрес. Особняк, к которому подошла девочка, был залит светом газовых рожков. В передней, обитой плюшем, Терезина вручила коробку элегантно одетой горничной и, не посмея сесть на красивую кушетку, осталась стоять у входа. Внезапно растворилась одна из дверей, и до нее донесся взрыв детского смеха. В прихожую высыпала веселая ватага детей.

Появилась горничная и сделала ей знак.

— Вы меня? — спросила Терезина больше глазами, чем голосом.

— Да, тебя, иди сюда. Тебя хочет видеть синьора! Иди в зал. И не очень-то следи! Вытирать-то потом мне придется.

«Подбодренная» таким образом, Терезина решила. В прекрасном, убранном цветами зале горел мраморный камин. Несколько мужчин в темных костюмах и дам в роскошных платьях пили за позолоченным столиком чай. Из-за камина четверо или пятеро детей широко раскрытыми глазами разглядывали маленькую портняжку, неподвижно застывшую у входа. Бедная Терезина чувствовала себя потерянной, словно ее выставили напоказ в витрине магазина. Самая красивая дама, вся в драгоценностях, подошла к ней, ласково взяла ее за подбородок и, смеясь, обернулась к господам.

— Видите, инженер, я не шутила! Вы считаете, что я плоха, что я эгоистка, а я, наоборот, хочу доказать, что я добрая, очень добрая, и что ваши безумные идеи меня убедили. К тому же при желании я могу стать более яркой социалисткой, чем вы, дорогой инженер, хотя наша Амелия уже усиленно подмигивает мне. Я начну с того, что



приглашу к чаю эту маленькую пролетарку... Я правильно сказала? Иди сюда, к этому столу, иди, дорогая! Дети, угостите ее чаем... Как тебя зовут? Терезой? Очень хорошо, Тереза, но не пей такими большими глотками, без привычки можно обжечь себе горло.

Мужчина, которого дама назвала инженером, засмеялся:

— Моя дорогая синьора, вы просто невыносимы. Но, как всегда, прелестны, и я уверен, что из вас получилась бы обворожительная социалистка.

— О, Гортензия — оригиналка, — добавила одна из дам, — и она в самом деле вполне способна на невесть что. Она вполне может расхаживать в красном галстуке по рынку и заниматься благотворительностью!

— Ах, только не в красном! Тебе, Гортензия, красное не пойдет! — вступила в разговор блондинка. Она говорила с напускным огорчением.

Терезина робко подошла к детям. Двое из них были совсем маленькие — восьми-девяти лет, другие — постарше. Одной из девочек, наверное, было столько же, сколько и ей. Но девочка уже была в корсаже, широкие шелковые ленты удерживали на ее плечах платье из белого кружева. У нее были красивые, как у сказочной феи, глаза, но только очень надменные. Она осмотрела Терезину с головы до пят, но оставив без внимания ни одной мелочи — ни сношенных башмаков, ни цветов на шляпке, жалко поникших от сырости.

Потом девочка молча протянула Терезине серебряное блюдо с пирожными.

Терезина опешила. Она так устала, что за весь день не почувствовала голода. И только теперь он напомнил о себе. Терезина схватила пирожное и впилась в него зубами, потом взяла другое. Девочка отвернулась, подняла брови и кивнула двум мальчикам постарше. Те засмеялись.

Терезина покраснела и опустила глаза. Она отлично поняла, что смеялись над ее жадностью, как смеялись в театре над марионетками, когда Пульчинелла глотал спагетти, хватая их прямо руками. Но что знали эти хорошо одетые господа о муках голода? Возмущение удержало ее от слез, и, сделав героическое усилие, она вернула второе пирожное:

— Спасибо, я больше не хочу.

Но кашель заставил ее поперхнуться. Девочка вся содрогалась, отчаянно пытаясь остановить этот неприличный приступ. Белый платок в ее дрожащих руках окрасился в красный цвет. В зале воцарилась тишина, затем хозяйка поспешно пересекла комнату. Белокурая дама тоже встала и сухо позвала:

— Филиппо, Андреа, сейчас же ко мне!

Донна Гортензия дернула за колокольчик. Появилась горничная.

— Каролина, проводи девочку до двери и дай ей... Нет, подожди.

Инженер, одолжите мне, пожалуйста, один скудо. Вот, дорогая, возьми и иди. Скажи мадам, что платье мне подошло, что я сама заеду... Иди, иди же.

— Низко кланяюсь,— прошептала Терезина, приседая. В то время как дверь за ней закрывалась, она услышала сердитый голос белокурой дамы:

— Адель, не притрагивайся к блюду! Горничная его сейчас унесет. Гортензия, надеюсь, ты довольна своей выходкой...

Хозяйка что-то ответила извиняющимся голосом, но что — Терезина не поняла.

Она очутилась на улице с коробкой в руках, которую горничная бросила ей вслед. Мысли лихорадочно теснились у нее в голове. Она снова смешалась с блестящей карнавальной толпой. Слеза упала ей на руку, в которой она сжимала серебряную монету. При свете фонаря она принялась рассматривать ее: монету с этим четким жестким профилем она видела впервые. Это было целое богатство.

— Глупая я,— сжав зубы, сказала себе Терезина,— зачем расстраиваться?

Ей не хотелось думать о красных пятнах, проступивших на платке. Такие же пятна отравили жизнь ее матери. Но больше всего ее огорчали не эти пятна, а монета. Ее бросили ей только для того, чтобы она ушла, унесла свое заразное дыхание из этого богатого, спокойного дома. Это была плата не за работу, не за тяжкий детский труд, а за те страх и отвращение, с которыми эти люди относились к нищете.



С ЧЕТЫРЕХ ДО ЧЕТЫРЕХ

Закон, запрещающий принимать на работу детей младше 12 лет, был принят в Италии только в 1874 году. До его появления у владельцев фабрик, шахт и заводов практически были развязаны руки. Особенно тяжело приходилось детям на южных окраинах Италии, где голод и нищета заставляли родителей буквально торговать своими детьми. На Сицилии родилось даже слово «карузи», так называли восьми-десятилетних детей, которых предприниматели покупали и затем отправляли на работу в серные копи. За эту по-

стыдную сделку родителям платили обычно зерном, но, как пишет Дж. Болдрини, нередко несчастных обманывали — зерно им сбывали плохого качества, пораженное грибками и к тому же смешанное с песком и землей.

«Карузи» переходили в полную собственность хозяина шахты. Плата за их труд была мизерной, а долг — выданное родителям зерно — превращался в рабскую цепь, разорвать которую удавалось только через десятки лет. «Карузи» выросли в темных галереях шахты, среди давящих глыб желтого минерала и ядовитых серных испарений. Бесчеловечный труд накладывал на них отпечаток на всю жизнь: рахит, искривление позвоночника и плеч, туберкулез...

Многие из них не выдерживали и умирали. Хозяева держали «карузи» в ежовых рукавицах, предупреждали любую попытку к бегству, жестоко наказывали виновных, чтобы навсегда отбить у «карузи» охоту к бунту.

В 1906 году после многолетней борьбы рабочим «Фиата» наконец-то удалось добиться десятичасового рабочего дня. Но дети, работавшие в серных копиях, продолжали трудиться в шахтах по двенадцать часов в сутки. Они спали в пещерах, вырытых неподалеку, их отпускали домой только раз в неделю. На фотографиях, сделанных в те годы, видны изуродованные ноги, согбенные спины, старческие морщины на печальных лицах детей-мучеников.

* * *

С четырех до четырех: таков рабочий день во всех серных копиях Кастро Джованни.

«Солнце встает, а мы спускаемся в шахту», — думал Саро, глядя сквозь открытую дверь на постепенно бледневшее августовское небо. Близился рассвет. Но не это казалось ему самым ужасным после того, что произошло два месяца назад и что так изменило его жизнь. Задолго до рассвета, а то и посреди ночи, встают и крестьяне — жители селений и обитатели одиноких хижин, разбросанных по сицилийской земле, ведь крестьянам и скоту надо пройти немало миль, прежде чем они доберутся до полей.

Нет, не раннее пробуждение порождало в его сердце жестокую тоску по отцовскому дому, по сельским нивам. Может, виной всему были зловонные, ядовитые испарения. Они исходили от серных скал. Казалось, эта земля мстит тем, кто дырявит ее колодцами шахт, не дает ей спокойно жить.

Саро частенько думал так, спускаясь вместе с другими в серную шахту. Именно это, а не только умение читать и немножко писать отличало его от остальных «карузи» — его товарищей по несчастью,

да и от хозяина, купившего мальчика за 180 лир у отца. Отцу пришлось пойти на такую ужасную сделку, чтобы как-то возместить ущерб, нанесенный засухой. Она дважды уничтожала урожай, и семья оказалась кругом в долгах.

Два месяца работы в шахте не сломили Саро. Ему уже исполнилось тринадцать лет, и он выглядел совсем взрослым по сравнению с теми, кто попал сюда в восьмилетнем возрасте. Среди сутулых, рахитичных, похожих на стариков подростков этот рослый сельский парень выделялся своими широкими прямыми плечами, стройными ногами, здоровым цветом лица. Дети работали совершенно голыми, только хозяин носил набедренную повязку, прикрепленную к поясу бечевкой.

Хозяин, которого звали Тури у'Дзукку, уже вошел в шахту. За ним потянулись «карузи»: первым шел Саро с масляной лампой в руках, за ним — два подростка, которые жили с ним в одной пещере, неподалеку от шахты. Первый из них приходился Саро двоюродным братом. Непосильный труд сделал мальчишку вредным и завистливым. К Саро он относился враждебно с первого дня работы в шахте. Глаза его злобно блестели под густой шапкой волос.

Саро старался не платить ему тем же. «Шахта все равно что лес или море,— думал он,— большой заглатывает маленького, и выбора нет: или встань на сторону сильных, или смирись. Серные копи делают людей либо рабами, либо негодьями». Он замедлил шаг, и третий из их группы, маленький Нинуццо, наткнулся на него и тотчас с хныканьем попросил прощения. Сирота Нинуццо был самый слабый, самый незащищенный и уже потому обреченный. Возможно, именно оттого, что другие всячески донимали мальчика, Саро жалел его, чувствовал, что любит Нинуццо почти так же, как своих маленьких братьев, оставшихся дома.

Между тем они дошли до самой глубокой штольни. Ребята спустились вниз, то и дело спотыкаясь о покрытые желтым налетом ступеньки и задыхаясь от поднимавшейся из глубины серной пыли.

Они работали с четырех до четырех — все шесть дней.

По двенадцать часов в сутки они сновали вверх-вниз, по узким галереям, обдирая бока, сгибаясь под тяжестью серых глыб минерала.

В последние часы этого субботнего дня Саро буквально падал с ног от усталости: пот заливал ему глаза, спина нестерпимо ныла. Он отвалил кусок минерала и попытался выпрямиться. Ноги у него так дрожали, что ему пришлось прислониться к стене. Нинуццо подошел к нему.

— Как ты себя чувствуешь, Саро?

— Как того желает всевышний! — печально ответил Саро. — Неважно!

Кола, худой и желтый, как все, но выносливый, как осел, презрительно засмеялся, проходя мимо:

— Теряем время, синьоры!

Нинуццо испуганно посмотрел ему вслед. Саро перехватил его взгляд и сказал:

— Ступай, Нинуццо, этот скот побежал жаловаться хозяину, и кто знает, что он ему наговорит. Ступай, я сейчас приду.

Морщинистое лицо девятилетнего старичка посерьезнело. Он задрал подбородок на манер сицилийских крестьян, как бы желая сказать, что не пойдет. Саро с трудом оторвался от стены.

— Тогда пойдем вместе.

К счастью, это был последний подъем вверх по стволу шахты. Цепочка «карузи», несших последний в этот день груз, затянула протяжную песню, такую же старую, как и сами шахты. Она казалась сплошной заунывной жалобой.

Когда Саро почти выбрался на поверхность, громкий болезненный вопль заставил его обернуться. Он увидел залитое слезами лицо Нинуццо, а за ним у'Дзукку с лампой. Он понял: хозяин, чтобы заставить «карузи» шагать поживей, поднес горячую лампу к ноге последнего в цепочке. Бессильная ярость охватила Саро, но он сдержался и пошел дальше. Что он мог сделать? Все хозяева поступали так же. Кому он мог пожаловаться? Он мог бы разбить окна палкой, но вряд ли это помогло бы Нинуццо. В его сердце klokотал гнев, он был готов наброситься на первого, кто попадется под руку, избить его, искушать.

А тут Кола выкинул жестокую и дурацкую шутку: когда Нинуццо вылезал из шахты, он подставил ему ножку, и мальчик кувырком полетел на землю. В следующий миг Саро бросился на своего брата, ярость удесятирила его силы. Казалось, два диких зверя вцепились друг в друга и под горячим ослепительным солнцем, в пыли отравленной серой пустыни, вот-вот перегрызут друг другу глотку. Остальные заулюлюкали и окружили дерущихся.

На шум прибежал у'Дзукку и с руганью набросился на ребят. Саро получил удар палкой по голове ниже уха, который оглушил его. Его враг, получив два пинка, воровато вскочил и удрал прочь.

Саро пришел в себя в пещере, на лежанке. Он лежал на соломе, под принесенным из дома одеялом. Нинуццо молча сидел рядом, у его ног стояла плошка с водой. Лаз в пещеру был еще светел, но солнце уже не жгло, и на небе появились оранжевые цвета заката.

Саро был растроган преданностью малыша, но не захотел этого показать.

— Ты что тут делаешь? — грубовато спросил он.

Нинуццо ничего не ответил, только пожал плечами.

— Тогда дай попить.

Глоток воды освежил его. Он приподнялся на локте, потом сел. Внезапно Саро вспомнил, что сегодня суббота. Раз в неделю, по субботам, маленьких невольников отпускали домой. А он, Саро, тем более должен попасть сегодня домой. Пора сказать, что так дело дальше не пойдет. Он готов и по ночам работать на поле. Все, что угодно, только не это ядовитое чрево серной шахты!

Теперь тяжелая доля крестьянина казалась ему даже завидной: вольное небо над головой, на пашне рядом с твоей тенью тень отца, а не грозная фигура всевидящего надсмотрщика, не слышно жалобного пения невольников, влачащих свои невидимые, но от этого не менее тяжелые цепи в зловонном подземелье.

Был звездный вечер, и Саро, прошедшему шесть миль пешком, его деревенька показалась необыкновенно милой. С Нинуццо он распрощался на площади. Когда Саро вошел в дом, мать что-то мешала в кастрюле, но тотчас же оставила ее и поспешила ему навстречу. Она, как всегда, сказала сыну несколько скупых ласковых слов и испытующе осмотрела его с ног до головы.

— Я здоров,— поспешил успокоить ее Саро.

Он сел на колченогий стул, который вместе с очагом составлял всю обстановку единственной комнаты дома. «Скажу, когда братья лягут спать»,— думал он. Но тут пришел отец, весь запыленный и грязный. От пыли, вьющейся в морщины его лица, он казался глиняной статуей с черным беретом на голове. Говорил мало, будто слова причиняли ему боль. Он погладил сына по голове, и рука его показалась Саро очень тяжелой.

— А что хозяин, как он там поживает? — отец имел в виду у'Дзукку.

— Здоров,— ответил Саро.

— Э! Много мы ему задолжали. Но бог даст,— и он неопределенно показал пальцем вверх,— через несколько лет ты оставишь эту шахту.

Ужин — немного хлеба и зеленый салат — подошел к концу. Мальчики засыпали на ходу, Розария сидела на коленях у отца. «Скажу ему перед сном»,— все откладывал Саро. И все не решался начать разговор. В большой постели спали мать, отец, Розария и близнецы. У Саро с тех пор, как он ушел на шахту, было свое место возле двери. Когда рассвет заглянул в окна, он понял, что все кончено и дома он ничего не скажет. К чему отцу лишние тревоги, сознание, что он ничего не может сделать для сына, не может защитить его? Ведь можно просто сбежать! А что может сделать у'Дзукку, если даже родственники Саро не будут знать, куда он делся? Не возьмет же он Анджелуццо и Пино, которым всего по четыре года! Хозяину придется смириться. А Саро знал, где укрыться. У него был друг, горец, а в горах можно жить годами, всю жизнь, и никто тебя там не найдет, даже карабинеры.



Приняв это решение, Саро почувствовал облегчение. Он был почти счастлив. В воскресенье мальчик встал поздно, поел и пошел в церковь, чтобы прислуживать во время обедни. Из всей деревеньки только он знал, как это делается. Старый священник научил его читать, ведь школы в селении не было.

В полночь, как всегда, мать разбудила его — пора было уходить. Саро не обнял ее, чтобы не вызвать подозрений, но ему стало больно. В доме было тепло от дыхания братьев. Отец еще спал: через два часа он поднимется и отправится в поле. Саро дошел до окраины деревеньки, с минуту постоял на развилке, потом поправил ремни заплечного мешка и решительно зашагал по тропинке, которая вела направо, в горы. Сначала он шел мимо маленьких огородов, потом начались поля с редкими деревьями. Большая августовская луна заливала все вокруг молочным светом, удлиняла до бесконечности тени. Вдыхая полной грудью горный воздух, напоенный ароматом розмарина, Саро легко поднимался вверх, не замечая, как проходит милю за милей.

На следующий день Кармело нашел его около хижины, возле старого улья, который Саро прилежно чистил. Пастух поздоровался с ним, не выразив никакого удивления. Он даже не улыбнулся, друзья всегда скупались на слова. Но вечером, отпивая из деревенской миски свежее молоко, Саро почувствовал, что другу надо рассказать о шахте, об у'Дзукку, о ядовитых испарениях, вырывавшихся из недр земли.

Кармело молча слушал, очищая от коры прутик. Только под конец рассказа он произнес: «Уж лучше умереть» — и глубоко вздохнул, словно хотел наполнить легкие душистым свежим воздухом. Потом показал на постель, постланную в углу, на куче веток.

Саро понял, что Кармело, не колеблясь, принял его и что теперь он не предаст его даже под пыткой. И все же одна мысль не покидала его: что предпримет у'Дзукку? В любом случае он постарается отомстить мятежному рабу, чтобы держать в повиновении остальных — таков неписанный закон. Сколько раз Саро слышал рассказы о жестоких наказаниях, которым подвергались «карузи», пытавшиеся сбежать еще до выплаты долга.

Но у Кармело, в глубине его невозмутимых мальчишеских глаз, таилась мудрость далеких предков: тех самых, которые уходили в горы и оказывали помощь разбойникам и беглому люду. На рассвете пятого, после прибытия Саро, дня Кармело взвалил на плечи огромную корзину с овечьим сыром и взял в руки пастушеский посох.

— Я спущусь вниз,— сказал он.— У нас кончилась соль, но к вечеру вернусь.

День показался Саро невероятно длинным. Надо было просушить пару овчин, сходить за водой к далекому источнику, собрать ежевику.

Он нащипал также горькой травы, которую Кармело применял при изготовлении сыров, хотя в хижине имелся достаточный запас этой травы. Но дела не отвлекали от тревожных мыслей, и он с нетерпением ждал возвращения друга. Наконец, когда в ясном небе зажглись вечерние звезды, он услышал залихватский свист Кармело. Саро бросился ему навстречу и почувствовал, что сердце вот-вот выпрыгнет у него из груди.

— Я видел твоего отца, — сказал Кармело, освобождаясь от тюков. — Это для тебя, — сказал он, откладывая один в сторону.

— Они уже знают? — выдохнул Саро.

— В деревне все знают, но твой отец не говорит ни слова.

Саро кивнул головой: этого следовало ожидать.

— Эти вещи тебе прислала мать.

— А у'Дзукку?

— У'Дзукку, — злобно хмыкнул Кармело, — у'Дзукку сказал: «Потерпим!»

— То есть как это потерпим?

— А ты думал, он так перед всеми и раскроет свои планы. К тому же я его не видел — встретил только Колу, того самого, из шахты.

Саро от неожиданности подпрыгнул:

— Колу? С какой стати этот мерзавец бездельничает?

— А что тут такого? — ответил Кармело, словно разговор становился ему в тягость. — Мне он ничего не сказал. Твой братец едва поздоровался со мной.

— Спасибо тебе, Кармело! — поспешил успокоить его Саро. — Ты и так слишком много для меня сделал.

Пастушок пожал плечами, улыбнулся ничего не значащей улыбкой и отправился к своим овцам: для него все было ясно. Но Саро, сам не зная почему, все еще не находил себе места. Он развязал тючок и извлек из него свою единственную хорошую рубашку, которая хранилась дома. Она была сшита из плотной хлопчатки в полоску. Мать аккуратно сложила ее, чтобы она не помялась. Мальчик растроганно улыбнулся, но улыбка быстро сошла с его губ, как только он увидел, что из рубашки выпала свернутая в трубку записка. Саро развернул ее. Углем на ней был нацарапан крест, а чуть пониже корявыми, но разборчивыми буквами написано: «Нинуццу».

Догадка молнией озарила мальчика: Кола! Это его послали передать записку, скорее всего отцу, но отец ничего не знает. Кола видел Кармело. Кола знает, что Кармело его друг. Догадался ли он обо всем или сунул записку наугад?

Но записка находилась у Саро в руках, и ужасная угроза у'Дзукку дошла до него. Все ясно: искать его не будут. Об его исчезновении не сообщат в полицию, этого им только не хватало. Но если он не

вернется сию минуту, сейчас же, «по своей воле», то пострадает от этого Нинуццу.

Саро горько усмехнулся: до чего же хитры эти волки! Ведь Нинуццо — сирота, защитить его некому. В шахте или вне ее может случиться любое происшествие, и никому, даже самому пострадавшему, если он останется в живых, и в голову не придет жаловаться. Саро должен был знать, что у'Дзукку никогда не простит им ста восьмидесяти лир, потраченных на гнилую муку, и что он всегда может рассчитывать на круговую поруку хозяев и даже своих невольников.

Мысль о страданиях, которые он мог причинить своему маленькому другу, открыто и доверчиво, как большой, привязавшемуся к Саро, перевернула ему душу. А он-то считал себя в безопасности! Он, который даже надеялся в один прекрасный день сесть на корабль, переплыть океан и начать тихую, спокойную жизнь и, возможно, когда-нибудь вернуться домой богатым...

Саро медленно сложил рубашку. На его лице, которое только что выражало гнев, ненависть и возмущение, появилось смиренное выражение: он решил, как и надеялись, даже наверняка знали эти волки, вернуться в шахту.

Войдя в хижину, Кармело еще радостно улыбался, но увидев в руках друга записку, он сразу все понял, хоть и был совершенно неграмотным.

— Это тебе? — спросил он.

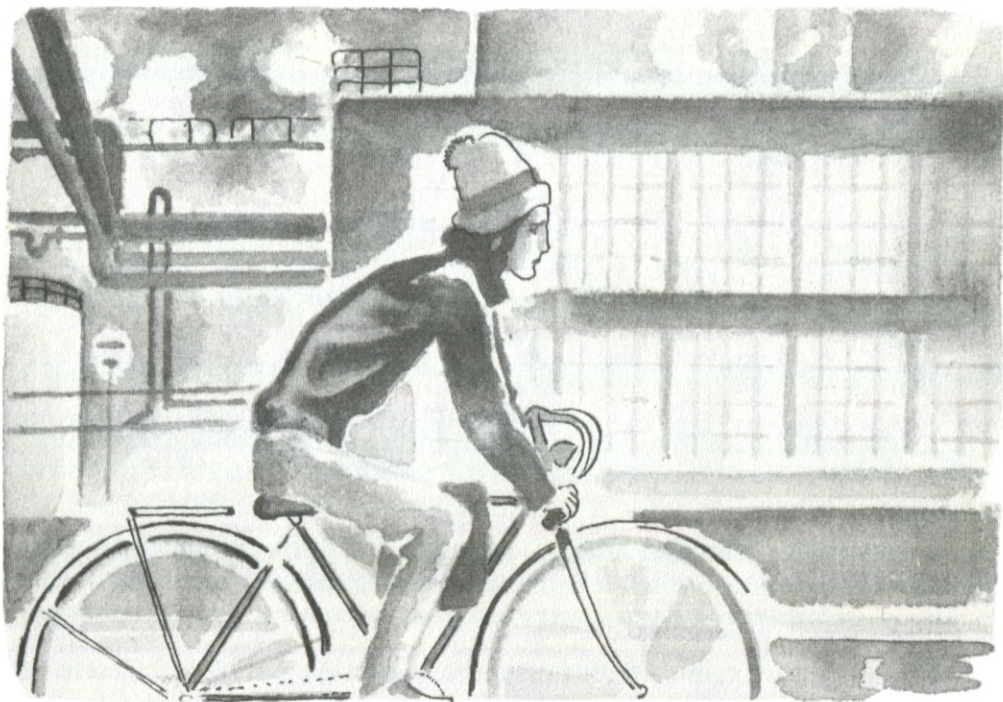
Саро кивнул головой и стал укладывать вещи.

Кармело ничего не сказал другу. Он вышел из хижины и скоро появился вновь. В руках у него был глиняный горшочек, аккуратно закрытый сухими листьями. Там был мед. Саро взял горшочек, хотел поблагодарить товарища.

— Кармело... — начал он, но голос его дрогнул, и он стыдливо отвернулся.

Через минуту он уже бежал, не оборачиваясь, вниз по тропинке. Ему не хотелось сейчас видеть друга, смотревшего на него с порога своего бесхитростного, но счастливого мира.

Вскоре ему показалось, что воздух, напоенный ароматом горных трав, стал отдавать ядовитыми парами серы, а вместо пения птиц и стрекота цикад ему слышались стоны и вздохи, вплетавшиеся в жалобные песни «карузи». Перед его взором вновь предстали хилые дети, спускающиеся в недра глубокой шахты, превращенной в ад человеческой подлостью и жадной наживы.



ТЫСЯЧА УДАРОВ

Действие этого рассказа происходит в итальянском городе Прато уже в наши дни. В шестидесятые годы в Италии быстро развивается промышленность. Введение новейшей техники позволило стране достичь невероятно высокой производительности. В мире заговорили об итальянском «экономическом чуде». Но это «чудо» было достигнуто в Италии главным образом за счет использования низкооплачиваемой рабочей силы, поступавшей в промышленность из деревни и отсталых южных районов. Немаловажную роль сыграло использование детского труда, хотя это и запрещено законом!

Постоянный приток рабочей силы в промышленность, труд тысяч

женщин и детей позволял итальянским предпринимателям сохранить низкий уровень заработной платы. Спрос на дешевые итальянские товары на внешних рынках повышался. Росли и прибыли капиталистов. Но во что они обходились тем, кто их создавал, вы узнаете, прочитав этот рассказ.

* * *

В январе в восемь часов вечера уже совсем темно. А старая военная дорога на Берберино ди Муджело то идет вдоль кипарисовой рощи, то огибает призрачную гладь Марины с ее камышами, шуршащими на ветру и отбрасывающими на асфальте причудливые тени.

Виничио было страшно, но он ни за что не признался бы в этом. Он винил себя в глупости и еще кое в чем похуже, удалски сжимал в зубах свисток, но страх не проходил: стоило залаять собаке или какой-нибудь птице взлететь из-под самого колеса, и у Виничио начинало стучать в висках. Сердце билось так сильно, что ныло в груди, хотелось плакать, и тогда он жал на педали как сумасшедший.

Дважды в месяц Виничио по неделе работал в ночную смену. Он эту дорогу знал наизусть. После Мадоннины шел относительно легкий участок — он въезжал в Каленцано с его освещенным баром и домиками у подножия холма. Мимо них, благодаря легкому наклону, Виничио мчался как птица. Дальше появлялся цементный завод с шумом машин и ярким светом неоновых ламп. В их свете фигурки рабочих на переходных мостках казались вырезанными из черной бумаги. Оставалось проехать пустынные поля возле железнодорожного моста. Но как только Виничио проскакивал под его черной аркой, тут же начинали маячить яркие огни делового, всегда шумного города Прато, бодрствующего днем и ночью. Виничио притормаживал, чтобы резко повернуть на улицу Горелло, затем с силой дватри раза нажимал на педали и наконец останавливался, скользя башмаком по краю тротуара. Если его замечал сторож старик Аделио, бывший рабочий, он по привычке говорил Виничио:

— Не жалей башмаков! Отец купит новые!

Эта шутка могла бы рассмешить, но смеяться не хотелось, потому что теперь в семье Джорджетти работал один Виничио.

Отец уже два месяца был безработным. А у матери на руках были маленькие Тоска и Маноло. Что она могла? Разве что наняться на несколько часов в услужение.

Виничио приходилось трудиться по двенадцать часов в сутки: неделю — в дневную, неделю — в ночную смену. Ему здорово повезло, что хозяин принял его на работу: ведь месяц назад ему и тринадцати не было. Впрочем, в цеху у Фралли было семеро таких, как он. Мальчишки гнули спину «на чужих» и всем им, кроме «старика»

Джиноне, которому стукнуло уже двадцать восемь, было меньше шестнадцати.

Всех их так же, как Виничио, приставили вначале к шпулям, а потом к станку.

Говорят, то же было и в сотнях других мастерских с их назойливым стуком машин, шумевших по всему Прато.

Виничио поставил велосипед под навес, за гаражом, где стояла хозяйская «Джульетта». Он снял с рамы сумку, куда мать положила бутерброд с яичницей и бутылку с разбавленным вином, толкнул заднюю дверь в мастерскую, и на него сразу же обрушился мерный шум машин, хотя помещение, куда он вошел, было лишь складом, а станки стояли дальше, за закрытой дверью. Двое ребят уже ждали начала смены.

Пичуга приветствовал его громким возгласом:

— Явился, голубчик!

Но голос его звучал невесело.

Васко, как всегда с головой ушедший в чтение газеты, даже не заметил его прихода.

Виничио подошел к другу посмотреть картинки и между прочим спросил у Пичуги:

— А где Джиноне?

В ночной смене они работали вчетвером. Остальные станки простаивали.

— Джиноне рыбку ловит, когда может! — отрезал Пичуга.

Ему уже было шестнадцать, и он щеголял в пальто, а Виничио все еще носил спортивный джемпер и куртку. Поэтому Пичуга напускал на себя вид бывалого парня.

Васко поднял голову от газеты.

— Кстати, ты ничего не знаешь. Говорят, Банелли набирает рабочих и работников к себе на фабрику.

— Да, говорят, — подтвердил Пичуга, — но и там страховки не получишь.

— А зачем? И вообще — где это ты видел, чтобы страховали ребят нашего возраста? — снисходительно возразил Васко. — Зато у Банелли большая фабрика, у него автоматы, на каждого по три, и делают они по сто двадцать оборотов в минуту...

— Что до меня, — прервал его Виничио, — мне на страховку наплевать, тем более что я не дорос до трудовой книжки. Но ведь у Банелли больше платят, верно?

— Мне кто-то говорил, что за восемь часов там можно заработать тысячу лир¹, но кто этому поверит?

¹ Лира — итальянская денежная единица; 1000 лир — это около восьмидесяти копеек.

Васко скорчил рожу вместо ответа. Но Виничио продолжал рассуждать вслух:

— Зато автоматы сами меняют челнок, нет опасности поранить пальцы...

— Да, но если у тебя оборвется нить на одном из станков, а ты этого не заметишь, ведь нужно следить за другими, то через две минуты у тебя наматается столько ткани, что понадобится полчаса, чтобы привести все в порядок... А работа сдельная. Вот и считай, сколько заработаешь за день. Если же просмотришь три обрыва — сразу «до свиданья», в объявлении так и сказано: «Немедленное увольнение!» Выгонят без разговоров.

Виничио вздохнул: страх увольнения был так силен, что по сравнению с ним двенадцатичасовой рабочий день казался благом. Что делать, приходилось работать ночью, когда все люди спят, а спать днем, жить, как совы или летучие мыши, возвращаться домой лишь затем, чтобы свалиться в постель и заснуть так крепко, что тебя не разбудишь, хоть из пушки пали.

— Если бы и впрямь можно было работать по восемь часов и получать тысячу лир, что бы ты сделал, Васко?

— Хе-хе! — сказал Пичуга. — Уж я-то знаю, что бы я сделал!

Васко сложил газету.

— Я окончил бы вечернюю школу, получил бы специальность, а потом пошел бы дальше учиться и стал бы инженером.

— Вон куда хватил! Инженером! — насмешливо произнес Пичуга. — Это, брат, только для господ. И вообще ты и так слишком много учился.

Пичуга был второгодником, он не закончил и четырех классов, пошел работать на фабрику. Впрочем, Виничио был с ним согласен.

Когда у него выпадало несколько свободных часов, он тут же отправлялся в кино, а летом — в лес под Каленцано собирать дикую спаржу или ловить пескарей под камнями и купаться в протоках. Все это у него было раньше. И все же ему казалось, что много лет назад не он, а какой-то другой мальчик вел эту беззаботную и счастливую жизнь, хотя всего три месяца прошло с тех пор, как он пошел в ночную смену.

Виничио поднял голову. Дневная смена, состоявшая сплошь из таких же ребят, как он, — исключение составлял лишь Аделио, выходила из цеха.

Проверить ночную смену пришел свояк хозяина. Это был темно-волосый человек лет тридцати. Ребята прозвали его Бухгалтером, потому что он провалился на экзамене после трех лет учения на бухгалтерских курсах.

Он прихрамывал на одну ногу, и ребята с ненавистью говорили,

что бог его наказал... Теперь он отчитывал Джиноне, который примчался наконец с высунутым языком и извинялся за опоздание, ссылаясь на прокол в шине. Бухгалтер грязно выругался, а Джиноне, чтобы польстить ему, засмеялся, словно услышал что-то приятное.

Виничио уже стоял у своего станка. Он любил эту старую машину, хотя она и делала всего восемьдесят оборотов в минуту. Чтобы прилично заработать на ней, надо было немало попотеть.

Но этой ночью станок, казалось, решил вести себя хорошо. Виничио только что его смазал. Правда, на это пришлось потратить четверть часа, за которые ему, понятно, никто не платил, но зато станок теперь охотно работал, будто старался ему помочь.

«Сегодня получка,— подумал Виничио,— кто знает, может, я принесу маме побольше денег».

И глаза его, устремленные на машину, загорелись радостью, но он ни на секунду не ослаблял внимания.

Щуплое тело мальчика сотрясало вместе со станком. Он настолько слился с машиной, что руки его, казалось, сделались продолжением механизма.

С каждой минутой все полнее становилось это чудовищное слияние человека с машиной, и поработанным оказывался человек. Сталь не знает усталости, а человек сделан из нервов и мышц, которые изматываются и расслабляются. У человека есть глаза, слипающиеся от усталости. Есть сердце. Именно сердце, благородное и усталое сердце мальчика, подвело его этой ночью, заставило забыть, что нельзя доверять бесчувственной машине. Виничио работал и видел, как проясняется лицо его матери, когда она пересчитывает серые бумажки по тысяче лир, как разглаживаются морщины на пожелтевшем лице отца, озаренном угрюмой гордостью за сына. Ведь сын справился с работой, которая запросто может угробить и взрослого.

До сих пор Виничио никогда не решался менять челнок на ходу, а сейчас подумал, что это ему удастся и что он сэкономит несколько секунд, несколько оборотов. Надо только выбрать удобный момент... Он протянул руку... И тут же раздался его пронзительный крик. Три головы разом обернулись к нему. «Мадонна! Мадонна!» — послышалось в неожиданно наступившей тишине.

...Это бежит к нему Джиноне, в отчаянии схватившись за голову. Виничио смотрит на правую руку, где уже нет мизинца, затем поднимает ее и отставляет подальше от себя, как что-то ему не принадлежащее. Он больше не кричит, только тихо шевелит побелевшими губами. Со склада примчался Бухгалтер, разразился непристойной бранью, но через минуту стал говорить тише.

Рука Виничио обернута тряпкой. Его сажают на переднее сиденье

в «Джувьетту», и вот уже снова в удивительно пустой голове Виничио раздается шум станков, а машина все мчится и мчится по темным центральным улицам, только на этих улицах в Прато спят в этот поздний час. Внезапно Бухгалтер тормозит: до больницы всего несколько шагов и уже виден красный крест, горящий над входом.

— Слушай,— говорит он. В голосе его сквозит спокойствие и равнодушие.— Что ты скажешь врачу о своей руке?

— Да ведь это,— говорит недоуменно Виничио,— ведь это станок...

— Я знал, что ты дурак, но не думал, что такой. Станок тут ни при чем. О станке не надо и заикаться. Понял? Сам виноват прежде всего. Тысячу раз вам говорили, не трогайте челнок на ходу, а вы все свое! Если хочешь сказать, что тебя искалечил станок, тогда слезай здесь и можешь рассказывать все, что в голову взбредет. Но помни: мы тебя не знаем. Трудовой книжки у тебя нет, никто тебя у нас не видел. Может, надеешься на поддержку друзей?

Но Виничио хорошо знал, что никто из товарищей не проговорится.

На улице столько безработных, готовых занять свободное место! Все уже испытали на своей шкуре, что значит сидеть дома без работы и мучиться от унижения больше, чем от голода.

— А будешь вести себя как мужчина,— голос Бухгалтера становится вкрадчивым,— я, как свояк хозяина, могу тебе пообещать, что через пятнадцать — двадцать дней, когда ты выздоровеешь, мы снова возьмем тебя на работу. И заплатим тебе за дни болезни. Лучше, кажется, и быть не может.

Сердце Виничио пылает гневом. Мало того, что ему, истерзанному, измотанному тринадцатилетнему мальчишке, отказывают в защите и уважении.

Ведь ему не дают даже сказать правду. Впрочем, Бухгалтер явно не ждет ответа. С довольным лицом он снисходительно заверяет Виничио:

— Ты ни о чем не думай. Врач — мой знакомый, и я все сам объясню. Он хороший парень.

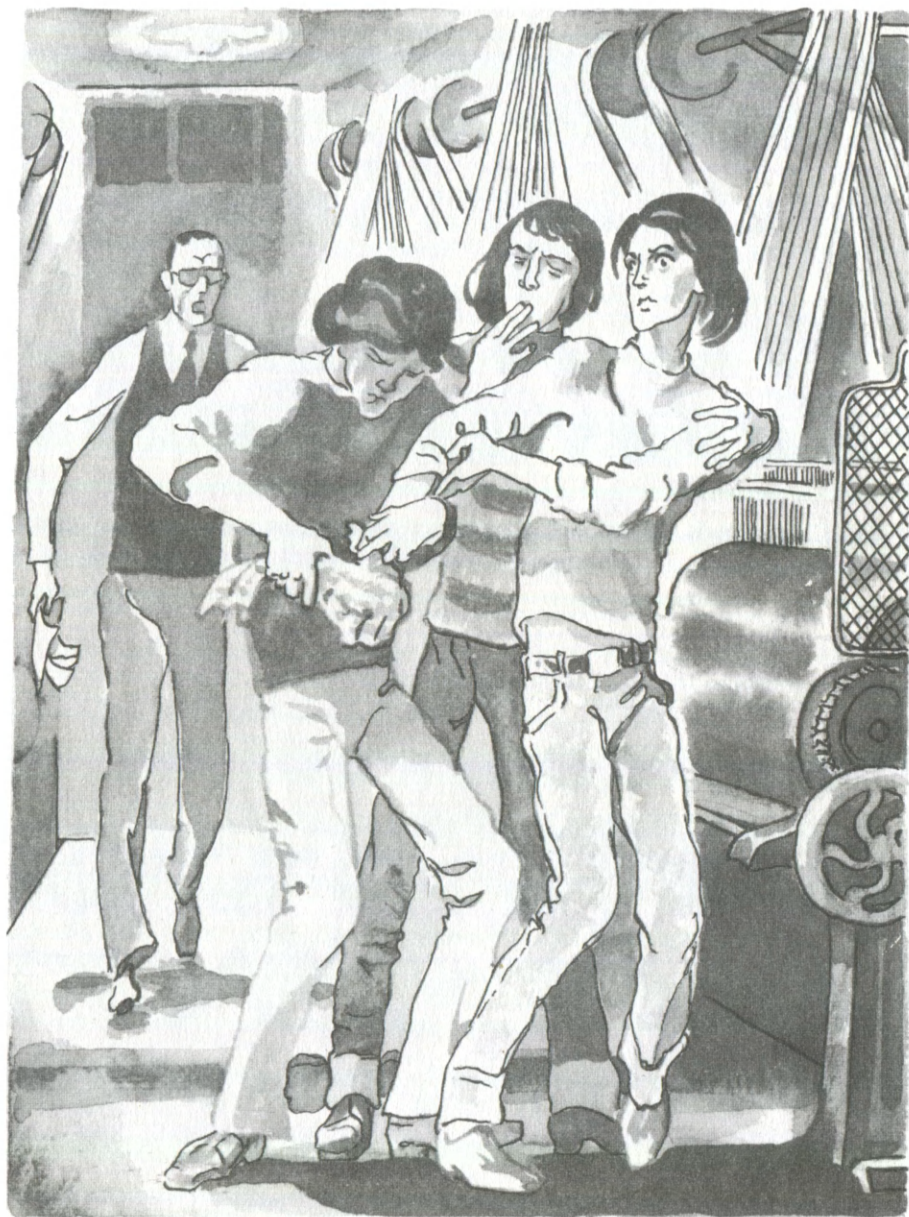
Доктор встречает их сердечно:

— Добрый вечер! Клиента привел? Что случилось?

— Это внук нашего сторожа, доктор. Такой сорванец, всегда вертится возле моей «Джувьетты». Сегодня вечером принес мне письмо. Я оставил его в гараже, а сам пошел за деньгами. Мотор в машине работал, в нем были какие-то перебои, и мне хотелось посмотреть, в чем дело... Послушай, а может, ты сунул руку в вентилятор?

У доктора огорченный вид, он качает головой и быстро развязывает руку.

— Ну и ну! Мизинца как не бывало. Придется накладывать швы.



Не вертись, слышишь! Вот до чего доводит страсть к машинам. А у них она теперь с пеленок. И как же это ты умудрился, сорванец?

Виничио отвечает врачу, а сам внимательно смотрит в лицо Бухгалтеру:

— Да, так... Там стоял вентилятор, ну я и...

Виничио сжимает зубы, чтобы не закричать, в его сухих глазах пылает огонь, способный испепелить весь мир.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Увидев заглавие этой книги, многие из вас были в недоумении. Что это: вымысел, сказка? Нет, это не вымысел. Просто книга Дж. Болдрини написана для детей, живущих в другом мире.

На Земле сейчас более полутора миллиардов детей, и каждую минуту 40 из них умирает от голода, а 200 миллионов детей страдает от недоедания.

И вот итальянская писательница поставила перед собой задачу объяснить маленьким читателям своей страны, почему многие из них живут в бедности, почему кое-кто не может ходить в школу, несмотря на то, что и в Итальянской республике существует закон об обязательном начальном обучении для всех, отчего в Италии нередки еще случаи, когда маленьким детям приходится с утра до вечера трудиться в поте лица, подобно рабам Древнего Рима или Древней Греции.

В связи с тем, что прошедший 1979 год был объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом ребенка, во всем мире было опубликовано много материалов о положении детей.

О том, что события, описанные в книге Джулианы Болдрини, не вымысел, свидетельствуют многие факты из жизни современной Италии. Вот самые последние сообщения из итальянской прессы.

Итальянский городок Ночера Инферьоре. На лесопильном заводе работают Кармела и Фортина. Одной из них 12 лет, другой — 10. В руках у них пневматические пистолеты для заколачивания гвоздей. Каждые пять секунд на землю падает готовый ящик для фруктов. Однообразная механическая работа доводит девочек до отчаяния. Шум от электрических пил — невыносим, освещение — тусклое, повсюду — гниющие опилки и отходы от дерева. Девочки зарабатывают по три тысячи лир в день. О школе они не могут и мечтать.

Рядом — хромировальная мастерская. В ней работают три мальчика, старшему едва исполнилось тринадцать лет. Они погружают металлические пластины в гальванические ванны, потом вынимают их, протирают и сушат. Здесь они постоянно имеют дело с кислотой, растворами, вредными для кожи, глаз, легких. И все это за десять тысяч лир.

А вот о чем поведала газета итальянских социалистов «Аванти». Недалеко от города Таранто, расположенного на юге Италии, полиция задержала автомашину марки «Форд-Таунус» предназначенную для перевозки девяти человек. В ней оказалось, помимо водителя, тридцать женщин-работниц, в том числе и несколько девочек 12—14 лет. Никто из женщин не мог ответить, куда их везут. Выяснилось, однако, что в начале лета крупные помещики нанимают через своих агентов работниц с детьми для обработки виноградников. Газета пишет, что помещики присваивают себе больше половины денег, заработанных женщинами и малолетними труженицами.

А слышали ли вы, например, о детской ярмарке в Италии? О ней рассказал Альберто Салани, итальянский журналист из буржуазного журнала «Эпока». Ежегодно летом в городке Альтамура, на юге Италии — в Аулии, проходит ярмарка, на которой торгуют «товаром в коротких штанишках».

В этом городке 1200 детишек, которым нет еще 14 лет, обречены работать наравне со взрослыми.

Салани, совершивший путешествие по адовым кругам детского труда в Италии, рассказывает об эпизодах, как две капли воды

похожих на те, которые описаны в книге Дж. Болдрини. «Детей ежегодно продают в рабство,— пишет он,— за них платят пять тысяч лир в месяц, да еще десять килограммов сыру».

Вы помните, один из героев книги Дж. Болдрини (рассказ «Тысяча ударов»), тринадцатилетний Виничио, под давлением хозяина скрывает от врача, что он потерял палец, работая у станка, ведь он хорошо знает, что «на улице столько безработных, готовых занять свободное место» и что «все уже испытали на своей шкуре, что значит сидеть дома без работы и мучиться от унижения больше, чем от голода».

«Позорная эксплуатация детского труда в Италии как бы часть привычной действительности»,— заключает А. Салани, знакомя читателей с историями пастушка из Альтамуры, который покончил с собой от сознания полного одиночества; двенадцатилетнего помощника каменщика, разбившегося при падении с лесов; девочек-работниц из Неаполя, попавших в больницу из-за токсического полиневрита, вызванного парами синтетического клея; мальчика со стройки в Порто Эмпедокле, упавшего в яму с негашеной известью, и многих других несчастных малолетних тружеников. «Истинные виновники подобных трагедий,— пишет А. Салани,— озабочены, кажется, только одним: как бы замолчать случившееся. Родители при этом стремятся заглушить чувство собственной вины. Работодатели обычно «очищают» свою совесть уплатой «компенсации», а в случае особой щедрости возмещают расходы на похороны!»

Известно, что в Миланской провинции насчитывается более пятидесяти тысяч малолетних тружеников, в Кампании — не менее ста тысяч, а в Сицилии — двести тысяч. В целом, по-видимому, около полумиллиона детей школьного возраста «отдано в люди» в нарушение закона о всеобщем обязательном обучении. Полуголодные маленькие труженики работают семь дней в неделю, и зачастую их рабочий день не ограничен. Появление инспектора на предприятиях, где заняты дети, мало что меняет. При его приближении детей-рабочих запирают в какую-нибудь укромную комнату и держат там, пока инспектор не удаляется. Родители же ничего не могут сделать, чтобы защитить своих детей. Для них послать ребенка на работу — часто единственный способ спасти рушащийся семейный бюджет.

Все эти факты подтверждают вывод, сделанный Карлом Марксом

более ста лет тому назад. «Раньше рабочий,— писал он,— продавал свою собственную рабочую силу... Теперь он продает жену и детей. Он становится работоторговцем».

Как вы заметили, герои первых трех рассказов — Аби, Филид и Руфо — это рабы, лишенные каких-либо человеческих прав. Они и их родители работают по прямому физическому принуждению, это своего рода «говорящие орудия», которые можно продать, передать наследнику, заложить, проиграть, отдать в наем.

Однако в самой природе рабского труда уже таились причины его неизбежного упадка: рабы ненавидели свой труд, ломали орудия производства, восставали против своих угнетателей. С течением времени рабовладельцам все труднее становилось держать рабов в повиновении. Поэтому мы видим, что многие из них стремятся прикрепить раба к земле, найти новую форму зависимости работника от хозяина орудий и средств производства.

Писательница не пыталась дать полную картину эксплуатации человека на протяжении всех веков мировой истории. Она стремилась показать, что и во времена рабства человек мечтал о свободе. Для маленьких героев рассказов Дж. Болдрини характерна по-детски острая непримиримость ко злу и насилию. Утратив надежду на освобождение, они ради него готовы искать любые пути, пусть даже самые отчаянные и неразумные. Мы видим, что маленький Аби гораздо больше, чем взрослые, ощущает несправедливость своего положения, всей душой стремится к активным действиям. А маленький Руфо становится уже непосредственным участником сражений восставших рабов под предводительством Спартака.

Действие остальных рассказов Джулианы Болдрини переносит нас в мир капитализма.

Капиталистическое производство основано на применении наемного труда формально свободных рабочих. Они не рабы, не «говорящие орудия», полностью принадлежащие хозяину-рабовладельцу. Не свободны они потому, что не имеют орудий производства. Это вынуждает их продавать свою рабочую силу капиталистам, владеющим фабриками, заводами, машинами и станками. Рабочая сила становится в капиталистическом обществе товаром. Однако рабочая сила — товар особого рода. А вы знаете, что стоимость рабочей силы определяется количеством рабочего времени, затраченным на произ-

водство общественного продукта, а также стоимостью питания, расходов на квартиру и содержание семьи и так далее. Применяя орудия труда, рабочий создает большую стоимость, чем стоимость его рабочей силы. Так возникает прибавочная стоимость, которую безвозмездно присваивает себе капиталист. Если же при этом капитализм втягивает в производство женщин и детей, то стоимость рабочей силы мужчины — главы семейства — снижается, поскольку она распределяется уже между всеми членами его семьи. Ясно, что «покупка» семьи, раздробленной, например, на четыре рабочие силы, обходится капиталисту дороже, чем «покупка» рабочей силы главы семьи. Однако применение труда всех членов семьи дает капиталисту прибавочную стоимость не одного работника, а четырех. Таким образом, прибыли его неизмеримо возрастают. К тому же машины зачастую делают излишней мускульную силу рабочих и становятся средством применения рабочих без мускульной силы, более слабых физически, то есть женщин и детей.

«...Принудительный труд на капиталиста не только захватил время детских игр, но овладел и временем свободного труда в домашнем кругу, в установленных правами пределах, для нужд самой семьи», — писал К. Маркс в «Капитале».

О том, как капиталисты «захватывают время детских игр», и о том, к чему это приводило на протяжении всей истории развития капитализма — от мануфактурного до индустриального производства — остальные рассказы книги Джулианы Болдрини. Читая их, вы, наверное, заметили, что положение маленьких «рабов» в капиталистическом мире зачастую еще хуже, чем в рабовладельческом обществе. Маленький Саро, хоть и бежит из серных рудников Сицилии, где рабочий день продолжается «с четырех до четырех», все же вынужден «добровольно» вернуться обратно. Так «по своей воле», а на самом деле движимая неумолимым механизмом капиталистической эксплуатации, бежит от клиентки к клиентке больная туберкулезом швея Терезина. А ставший на всю жизнь инвалидом Виничио может только сжать зубы и промолчать: иначе его не возьмут снова на работу.

Однако с первых же дней возникновения капиталистического рабства появляется и крепнет сопротивление несправедливому строю со стороны пролетариата.

Протест рабочих носит вначале стихийный характер: они ломают

машины, в которых наивно видят источник всех своих зол, прекращают работу, требуя от хозяев увеличения заработной платы, встают против несправедливого с ними обращения. На страницах этой книги вы уже встретили несколько рассказов о том, как начиналась борьба трудящихся со своими эксплуататорами. Это и чомпишерстяники Флоренции, добивающиеся удовлетворения своих требований, и восставшая голытьба Неаполя, и бегущие со своих предприятий стекольных дел мастера Венеции.

Джулиана Болдрини живет в стране, где борьба рабочего класса, всех трудящихся за свое освобождение еще продолжается, где с каждым днем все острее становятся столкновения между крепнущим рабочим классом и классом капиталистов. На последних страницах книги, посвященных эксплуатации итальянских детей в наши дни, писательница показала, что борьба не закончена, что впереди множество новых столкновений, которые должны закончиться победой людей труда.

Джулиана Болдрини с гневом и болью пишет о положении маленьких рабов и рабынь в современном капиталистическом мире, она на стороне тех, кто не может мириться с угнетением и злом, кто любой ценой стремится к свободе и справедливости.

В заключение несколько слов об авторе этой книги. Джулиана Болдрини, историк по образованию, работает учительницей во Флоренции. Это в большей степени объясняет как ее интерес к событиям давно минувших дней, так и желание поделиться в доступной форме своими знаниями с детьми, с которыми она так часто общается.

Джулиана Болдрини много работает. Ее старинный дом в пригороде Флоренции буквально забит книгами. Две темы особенно интересуют писательницу. Это античность и положение детей в современном мире. В результате серьезных занятий древней историей Джулиана Болдрини написала две книги: «Тайна этрусков» и «Микенский лев», получившие признание не только на родине писательницы. В первой из них рассказывается о легендарном мире этрусков, древней народности, населявшей территорию Италии еще до возникновения римского рабовладельческого государства, во второй — о сыне лемносского царя, обращенном в рабство в Микенах, — одном из древнегреческих государств. Роман Джулианы Болдрини «Охота на ведьм» рассказывает о поповском обскурантизме во времена Средневековья.

Книга Джулианы Болдрини «Дети на продажу» вызвала в Италии большой интерес. Это публицистическое произведение не просто описывает в художественной форме те или иные события, но и заставляет задуматься над положением вещей в наше время. Это «книга большой надежды и оптимизма,— писала исследовательница творчества писательницы Карла Поэзио,— она отвергает смирение и побуждает к активному отношению к жизни».

Г. Смирнов

СОДЕРЖАНИЕ

<i>К. Бенедетти. Дети на рынке труда</i>	<i>3</i>
<i>Аби из города мертвых</i>	<i>5</i>
<i>Крысы в копиях</i>	<i>14</i>
<i>История Руфо</i>	<i>24</i>
<i>Вода из Арно</i>	<i>34</i>
<i>Восстание в Неаполе</i>	<i>43</i>
<i>Пленники острова Стеклодувов</i>	<i>53</i>
<i>Эскудо, подаренный Терезине</i>	<i>61</i>
<i>С четырех до четырех</i>	<i>70</i>
<i>Тысяча ударов</i>	<i>79</i>
<i>Г. Смирнов. Послесловие</i>	<i>87</i>

К читателям

*Отзывы об этой книге просим присылать
по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Для среднего возраста

Джулиана Болдрини

ДЕТИ НА ПРОДАЖУ

ИБ № 3856

Ответственный редактор А. С. Ляуэр
Художественный редактор М. Д. Суховцева
Технический редактор Л. Н. Никитина
Корректоры Э. Л. Лофенфельд и А. П. Саркисян

Сдано в набор 28.02.80. Подписано к печати 19.09.80. Формат 70×90/16.
Бум. офс. № 1. Шрифт школьный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,02. Уч.-
изд. л. 5,88. Тираж 100 000 экз. Заказ № 425. Цена 40 коп. Ордена Трудового
Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного коми-
тета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва,
Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знаме-
ни полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавополи-
графпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Болдрини Дж.

Б79 Дети на продажу: Рассказы/Пер. с итал.
Г. П. Смирнова; Рис. Л. Дурасова.—М.: Дет. лит.,
1980.— 93 с., ил.

40 к.

Рассказы прогрессивной писательницы о судьбах детей разных эпох — от античности до сегодняшнего дня — в Италии. Все они иллюстрируют жестокость эксплуататорских обществ, бедственное положение детей в мире наживы.

Б 70803—501 44р—80
М101(03)80

И(Итал)

40 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»